

Вера Федоровна ПАНОВА.

СЕРЕЖА



КТО ТАКОЙ СЕРЕЖА И ГДЕ ОН ЖИВЕТ

Моим детям —

Наталии, Борису и Юрию

Выдумали, будто он на девочку похож. Это прямо смешно. Девочки ходят в платьях, а Сережа давным-давно не ходит в платьях. У девочек, что ли, бывают рогатки? А у Сережи есть рогатка, из нее можно стрелять камнями. Рогатку сделал ему Шурик. За это Сережа отдал Шурику все ниточные катушки, которые собирал всю свою жизнь.

А что у него такие волосы, так их сколько раз стригли машинкой, и Сережа сидит смирно, закутанный простыней, и терпит до конца, а они все равно растут опять.

Зато он развитой, все говорят. Он знает наизусть целую кучу книжек. Два или три раза прочтут ему книжку, и он уже знает ее наизусть. Знает и

буквы, но читать самому — очень долго. Книжки густо измазаны цветными карандашами, потому что Сережа любит раскрашивать картинки. Если даже картинка в красках, он их перекрашивает по своему вкусу. Книжки недолго бывают новыми, они распадаются на куски. Тетя Паша приводит их в порядок, сшивая и склеивая листы, изорванные по краям.

Пропадет какой-нибудь лист — Сережа ищет его и успокаивается, когда находит: он привязан к своим книжкам, хотя в глубине души не принимает всерьез все эти истории. Звери на самом деле не разговаривают, и ковер-самолет летать не может, потому что он без мотора, это каждый дурак знает.

И вообще, как принимать всерьез, если читают про ведьму и тут же говорят: «А ведьм, Сереженька, не бывает».

Но все-таки он не может перенести, как это дровосек и его жена обманом завели своих детей в лес, чтобы они там заблудились и не вернулись никогда. Хоть Мальчик с пальчик спас их всех, но слушать про такие дела невозможно. Сережа не позволяет читать ему эту книжку.

Живет Сережа с мамой, тетей Пашей и Лукьянычем. В доме у них три комнаты. В одной спит Сережа с мамой, в другой тетя Паша с Лукьянычем, а третья столовая. При гостях едят в столовой, а без гостей в кухне. Еще есть терраса и двор. Во дворе куры. На двух длинных грядках растет лук и редиска. Чтобы куры не раскапывали грядки, кругом натыканы сухие ветки с колючками; и когда Сереже нужно сорвать редиску, вечно эти колючки царапают ему ноги.

Считается, что их город маленький. Сережа и его товарищи думают, что это неправильно. Большой город. В нем есть магазины, и водокачки, и памятник, и кино. Иногда мама берет Сережу с собой в кино. «Мамочка, — говорит Сережа, когда тушат свет, — если будешь что-нибудь понимать, говори мне».

По улицам ездят машины. Шофер Тимохин катает ребят на своей полуторке. Только это редко бывает. Это бывает, когда Тимохин не выпьет водки. Тогда он нахмуренный, не разговаривает, курит, плюется и всех катает.

А если проезжает веселый — не стоит и проситься, ничего не будет: машет рукой из окошечка и кричит: «Привет, ребята! Не имею морального права! Я выпивши!»

Улица, где живет Сережа, называется Дальняя. Просто называется: от нее всюду близко. До площади — километра два, Васька говорит. А до совхоза «Ясный берег» — еще ближе, Васька говорит.

Главнее совхоза «Ясный берег» ничего нет. Там работает Лукьяныч. Тетя Паша ходит туда в магазин за селедками и мануфактурой. Мамина школа тоже в совхозе. По праздникам Сережа бывает с мамой на школьных утренниках. Там он познакомился с рыжей Фимой. Она большая, ей восемь лет. У нее косы уложены на ушах крендельками, а в косы вплетены ленты и завязаны бантами: или черные ленты, или голубые, или белые, или коричневые; очень много лент у Фимы. Сережа бы не заметил, но Фима сама спросила его:

— Ты обратил внимание, сколько много у меня лент?

ТРУДНОСТИ ЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ

Это она правильно сделала, что спросила. А то разве на все обратишь внимание? Сережа и рад обратить, да внимания не хватит. Столько вещей кругом. Мир набит вещами. Изволь все заметить.

Почти все вещи очень большие: двери ужасно высокие, люди (кроме детей) почти такой же высоты, как двери. Не говоря уже о грузовике, или комбайне, или о паровозе, который как загудит, так ничего не слышно, кроме его гудка.

Вообще — не так уж опасно: люди к Сереже доброжелательны, наклоняются, если ему нужно, и никогда не наступают на него своими громадными ногами. Грузовик и комбайн тоже безвредны, если не перебегать им дорогу. Паровозы — далеко, на станции, куда Сережа два раза ездил с Тимохиным. Но вот ходит по двору зверь. У него круглый, подозрительный, нацеливающийся глаз, могучий дышащий зоб, грудь колесом и железный клюв. Вот зверь остановился и мозолистой ногой

разгребают землю. Когда он вытягивает шею, то делается одного роста с Сережей. И может так же заклевать Сережу, как заклевал молодого соседского петушка, который сдуру разлетелся в гости. Сережа стороной обходит кровожадного зверя, делая вид, что и не видит его вовсе, — а зверь, свесив красный гребень набок и гортанно говоря что-то угрожающее, провожает его бдительным недобрым взглядом...

Петухи клюются, кошки царапаются, крапива жжется, мальчишки дерутся, земля срывает кожу с колен, когда падаешь, — и Сережа весь покрыт царапинами, ссадинами и синяками. Почти каждый день у него откуда-нибудь идет кровь. И вечно что-то случается. Васька влез на забор, и Сережа хотел влезть, но сорвался и расшибся. У Лиды в саду выкопали яму, и все ребята стали прыгать через яму, и всем ничего, а Сережа прыгнул и свалился в яму. Нога распухла и болела, Сережу уложили в постель. Едва поднялся и вышел во двор поиграть мячиком, а мячик залетел на крышу и лежал там за трубой, пока не явился Васька и не достал его. А как-то Сережа чуть-чуть не утонул. Лукьяныч повез их кататься по речке на челне — Сережу, Ваську, Фиму и еще одну свою знакомую девочку, Надю. Челн у Лукьяныча оказался никудышный: только ребята зашевелились — челн качнулся, и они все упали в воду, кроме Лукьяныча. Вода была жутко холодная. Она сразу налилась Сереже в нос, рот, уши — он и крикнуть не успел; даже в живот. Сережа сделался весь мокрый и тяжелый, и его как будто кто-то потащил вниз. Он почувствовал ужас, какого никогда не чувствовал. И было темно. И это длилось невероятно долго. Как вдруг его подняли кверху. Он открыл глаза — возле самого лица его струилась речка, был виден берег, и все сверкало от солнца. Вода, что была у Сережи внутри, вылилась, он вдохнул воздух, берег придвигался ближе и ближе, и вот Сережа стал на четвереньки на твердый песок, дрожа от холода и страха. Это Васька сообразил схватить его за волосы и вытащить. А если бы у Сережи не было длинных волос, тогда что?

Фима выплыла сама, она умеет плавать. А Надя тоже чуть не утонула, ее спас Лукьяныч. А челн уплыл, пока Лукьяныч спасал Надю. Колхозницы поймали челн и позвонили Лукьянычу в контору по телефону, чтобы он его забрал. Но больше Лукьяныч не катает ребят. Он говорит: «Будь я проклят, если еще когда-нибудь с вами поеду».

От всего, что приходится увидеть и испытать за день, Сережа очень устает. К вечеру он совсем изнемогает: еле ворочается у него язык; глаза закатываются, как у птицы. Ему моют руки и ноги, сменяют рубашку, — он в этом не участвует, его завод кончился, как у часов.



Он спит, свободно откинув светловолосую голову, разбросав худенькие руки, вытянув одну ногу, а другую согнув в колене, словно он всходит по крутой лестнице. Волосы, тонкие и легкие, разделившись на две волны, открывают лоб с двумя упрямыми выпуклостями над бровями, как у молоденького бычка. Большие веки, опущенные тенистой полоской ресниц, сомкнуты строго. Рот приоткрылся посередине, в уголках склеенный сном. И дышит он неслышно, как цветок.

Он спит — и можете, пожалуйста, бить в барабан, палить из пушки, — Сережа не проснется, он копит силы, чтобы жить дальше.

ПЕРЕМЕРЫ В ДОМЕ

— Сереженька, — сказала мама, — знаешь, что?.. Мне хочется, чтобы у нас был папа.

Сережа поднял на нее глаза. Он не думал об этом. У одних ребят есть папы, у других нет. У Сережи тоже нет: его папа убит на войне; Сережа видел его только на карточке. Иногда мама целовала карточку и Сереже давала целовать. Он с готовностью прикладывал губы к стеклу, затуманившемуся от маминого дыхания, но любви не чувствовал: он не мог любить того, кого видел только на карточке.

Он стоял между мамиными коленями и вопросительно смотрел ей в лицо. Оно медленно розовело: сначала порозовели щеки, от них нежная

краснота разлилась на лоб и уши... Мама зажала Сережу в коленях, обняла его и приложила горячую щеку к его голове. Теперь ему видна была только ее рука в синем рукаве с белыми горошинами. Шепотом мама спросила:

— Ведь без папы плохо, правда? Правда?..

— Да-а, — ответил он, тоже почему-то шепотом.

На самом деле он не был в этом уверен. Он сказал «да» потому, что ей хотелось, чтобы он сказал «да». Тут же он наскоро прикинул: как лучше — с папой или без папы? Вот когда Тимохин их катает на грузовике, то все садятся наверху, а Шурик всегда садится в кабину, и все ему завидуют, но не спорят, потому что Тимохин — Шурикин папа. Зато если Шурик не слушается, то Тимохин наказывает его ремнем, и Шурик ходит зареванный и угрюмый, а Сережа страдает и выносит во двор все свои игрушки, чтобы Шурик утешился... Но, должно быть, с папой все-таки лучше: недавно Васька обидел Лиду, так она кричала: «А у меня зато папа есть, а у тебя нет, ага!»



— Чего это стучит? — спросил Сережа громко, заинтересовавшись глухим стуком у мамы в груди.

Мама засмеялась, поцеловала Сережу и крепче прижала к себе:

— Это сердце. Мое сердце.

— А у меня? — спросил он, наклоняя голову, чтобы услышать.

— И у тебя.

— Нет. У меня не стучит.

— Стучит. Просто тебе не слышно. Оно обязательно стучит. Без этого человек не может жить.

— Всегда стучит?

— Всегда.

— А когда я сплю?

— И когда ты спишь.

— А тебе слышно?

— Да. Слышно. А ты можешь рукой почувствовать.

Она взяла его руку и приложила к ребрам:

— Чувствуешь?

— Чувствую. Здорово стучит. Оно большое?

— Сожми кулачок. Вот, оно такое приблизительно.

— Пусти, — озабоченно сказал он, выбираясь из ее объятий.

— Куда ты? — спросила она.

— Я сейчас, — сказал он и побежал на улицу, прижимая руку к левому боку. На улице были Васька и Женька.

Он подбежал к ним и сказал:

— Вот попробуйте, хотите? Тут у меня сердце. Я его рукой чувствую. Попробуйте, хотите?

— Подумаешь! — сказал Васька. — У всех сердце.

Но Женька сказал:

— А ну.

И приложил руку к Сережиному боку.

— Чувствуешь? — спросил Сережа.

— Ага, — сказал Женька.

— Оно приблизительно такое, как мой кулак, — сказал Сережа.

— А ты почему знаешь? — спросил Васька.

— Мне мама сказала, — ответил Сережа. И, вспомнив, добавил: — А у меня будет папа!

Но Васька и Женька не слушали, занятые своими делами: они несли на заготпункт лекарственные растения. На заборах вывесили списки — какие растения принимаются; и ребятам захотелось заработать. Два дня они собирали травы. Васька отдал свой сбор матери и велел перебрать, рассортировать и увязать в чистую тряпку; и теперь шел на заготпункт с большим опрятным узлом. А у Женьки матери нет, тетка и сестра на работе, не самому же возиться; Женька нес сдавать лекарственные растения в дырявом мешке от картошки, с корнями и даже с землей. Зато очень много было; больше, чем у Васьки; взвалил на спину — так и согнулся пополам.

— И я с вами, — сказал Сережа, поспешая за ними.

— Не, — сказал Васька. — Поворачивай домой. Мы по делу идем.

— Да я просто так, — сказал Сережа. — Просто провожу.

— Поворачивай, сказано! — приказал Васька. — Это тебе не игра! Маленьким нечего там делать!

Сережа отстал. У него дрогнула губа, но он скрепился: подходила Лида, при ней плакать не стоит, а то задразнит: «Плакса! Плакса!»

— Не взяли тебя? — спросила она. — Эх, ты!

— Если я захочу, — сказал Сережа, — я вот столько наберу всякой разной травы! Выше неба!

— Выше неба — врешь, — сказала Лида. — Выше неба никто не наберет.

— А вот у меня будет папа, он наберет, — сказал Сережа.

— Врешь ты все, — сказала Лида. — Никакого папы у тебя не будет. И он все равно не наберет. Никто не наберет.

Сережа, запрокинув голову, посмотрел на небо и задумался: можно набрать травы выше неба или нельзя? Пока он думал, Лида сбегала к себе домой и принесла пестрый шарф, — мать ее носила этот шарф, когда на шее, а когда на голове. С шарфом Лида принялась плясать, размахивая им, вскидывая руки и ноги и распевая что-то себе в помощь. Сережа стоял и смотрел. Лида на минутку перестала плясать и сказала:

— Надька врет, что ее в балет отдают.

Поплясала еще и сказала:

— На балерин учат в Москве и в Ленинграде.

И, заметив в Сережиных глазах восхищение, великодушно предложила:

— Чего ж ты? Учись давай, ну? Смотри на меня и делай, что я делаю.

Он стал делать, но без шарфа не получалось. Она велела ему петь, но и это не помогло. Он попросил:

— Дай мне шарфик.

Но она сказала:

— Ишь какой!

И не дала. В это время подъехала машина «газик» и остановилась у Сережиных ворот. Из машины вышла женщина-шофер, а из калитки тетя Паша. Женщина-шофер сказала:

— Принимайте, Дмитрий Корнеевич прислал.

В машине был чемодан и стопки книг, перевязанные веревками. И еще что-то толстое серое, скатанное в трубку, — оно развернулось, это оказалась шинель. Тетя Паша и шофер стали носить все это в дом. Мама выглянула из окошка и скрылась. Шофер сказала:

— Извините — вот и все приданое.

Тетя Паша ответила грустным голосом:

— Уж пальтишко мог бы купить.

— Купит, — пообещала шофер. — Все впереди. И вот передайте письмецо.

Она отдала письмо и уехала. Сережа побежал домой, крича:

— Мама! Мама! Коростелев нам прислал свою шинель!

(Дмитрий Корнеевич Коростелев ходил к ним в гости. Он дарил Сереже игрушки и один раз зимой катал его на саночках. Шинель у него без погон, осталась с войны. Сказать «Дмитрий Корнеевич» трудно, Сережа звал его: Коростелев.)

Шинель уже висела на вешалке, а мама читала письмо. Она ответила не сразу, а когда дочитала до самого конца.

— Я знаю, Сереженька. Коростелев теперь будет жить с нами. Он будет твой папа.

И она стала читать то же самое письмо — наверно, с одного раза не запомнила, что там написано.

Под словом «папа» Сереже представлялось что-то чужое, невиданное. А Коростелев — их старый знакомый, тетя Паша и Лукьяныч зовут его Митя, что это маме вдруг вздумалось? Сережа спросил:

— А почему?

— Слушай, — сказала мама, — ты дашь прочесть письмо или ты не дашь?

Так она ему и не ответила. У нее оказалось много разных дел. Она развязала книги и поставила на полку. И каждую книгу обтирала тряпкой. Потом переставила штучки на комод перед зеркалом. Потом пошла во двор и нарвала цветов и поставила в вазочку. Потом для чего-то ей понадобилось мыть пол, хотя он был чистый. А потом стала печь пирог. Тетя Паша ее учила, как делать тесто. И Сереже дали теста и варенья, и он тоже испек пирог, маленький.

Когда пришел Коростелев, Сережа уже забыл о своих недоумениях и сказал ему:

— Коростелев! Посмотри, я испек пирог!

Коростелев наклонился к нему и несколько раз поцеловал, — Сережа подумал: «Это он потому так долго целуется, что он теперь мой папа».

Коростелев распаковал свой чемодан, достал оттуда мамину карточку в рамке, взял гвоздь и молоток и повесил карточку в Сережиной комнате.

— Зачем это, — спросила мама, — когда я живая буду всегда с тобой?

Коростелев взял ее за руку, они потянулись друг к другу, но оглянулись на Сережу и отпустили руки. Мама вышла. Коростелев сел на стул и сказал задумчиво:

— Вот так, брат Сергей. Я, значит, к тебе переехал, не возражаешь?

— Ты насовсем переехал? — спросил Сережа.

— Да, — сказал Коростелев. — Насовсем.

— А ты меня будешь драть ремнем? — спросил Сережа.

Коростелев удивился:

— Зачем я тебя буду драть ремнем?

— Когда я не буду слушаться, — объяснил Сережа.

— Нет, — сказал Коростелев. — По-моему, это глупо — драть ремнем, а?

— Глупо, — подтвердил Сережа. — И дети плачут.

— Мы же с тобой можем договориться, как мужчина с женщиной, без всякого ремня.

— А в которой комнате ты будешь спать? — спросил Сережа.

— Видимо, в этой, — ответил Коростелев. — По всей видимости, брат, так. А в воскресенье мы с тобой пойдем — знаешь, куда мы с тобой пойдем? В магазин, где игрушки продают. Выберешь сам, что тебя устраивает. Договорились?

— Договорились! — сказал Сережа. — Я хочу велосипед. А воскресенье скоро?

— Скоро.

— Через сколько?

— Завтра будет пятница, потом суббота, а потом воскресенье.

— Еще не скоро! — сказал Сережа.

Пили чай втроем: Сережа, мама и Коростелев. (Тетя Паша с Лукьянычем куда-то ушли.) Сереже хотелось спать. Серые бабочки толклись вокруг лампы, стукались об нее и падали на скатерть, часто мелькая крылышками, — от этого хотелось спать еще сильнее. Вдруг он увидел, что Коростелев куда-то несет его кровать.

— Зачем ты взял мою кровать? — спросил Сережа.

Мама сказала:

— Ты совсем спишь. Пошли мыть ноги.

Утром Сережа проснулся и не сразу понял, где он. Почему вместо двух окон три, и не с той стороны, и не те занавески. Потом разобрался, что это тети Пашина комната. Она очень красивая: подоконники заставлены цветами, а за зеркало заткнуто павлинье перо. Тетя Паша и Лукьяныч уже встали и ушли, постель их была застлана, подушки уложены горкой. Раннее солнце играло в кустах за открытыми окнами. Сережа вылез из кровати, снял длинную рубашку, надел трусики и вышел в столовую. Дверь в его комнату была закрыта. Он подергал ручку: дверь не отворилась. А ему туда нужно было непременно: там ведь находились все его игрушки. В том числе новая лопата, которую ему вдруг очень захотелось покопать.

— Мама! — позвал Сережа.

— Мама! — позвал он еще раз.

Дверь не открывалась, и было тихо.

— Мама! — крикнул Сережа изо всех сил.

Тетя Паша вбежала, схватила его на руки и понесла в кухню.

— Что ты, что ты! — шептала она. — Как можно кричать! Нельзя кричать! Слава богу, не маленький! Мама спит, и пусть себе спит на здоровье, зачем будить!

— Я хочу взять лопату, — сказал он тревожно.

— И возьмешь, никуда не денется лопата. Мама встанет, и возьмешь, — сказала тетя Паша. — Смотри-ка, а вот рогатка твоя. Вот ты пока рогаткой позанимаешься. А хочешь, морковку почистить дам. А раньше всех дел добрые люди умываются.

Разумные, ласковые речи всегда действовали на Сережу успокоительно. Он дал ей умыться и выпил кружку молока. Потом взял рогатку и вышел на улицу. Напротив на заборе сидел воробей. Сережа, не целясь, стрельнул в него из рогатки камушком и, конечно же, промахнулся. Он нарочно не целился, потому что сколько бы он ни целился, он бы все равно не попал, кто его знает — почему; но тогда Лида дразнилась бы, а теперь она не имеет права дразниться: ведь видно было, что человек не целился, просто захотелось ему стрельнуть, он и стрельнул не глядя, как попало.

Шурик крикнул от своих ворот:

— Сергей, в рощу пошли?

— А ну ее! — сказал Сережа.

Он сел на лавочку и сидел, болтая ногой. Его беспокойство усиливалось. Проходя через двор, он видел, что ставни на его окнах тоже закрыты. Сразу он не придал этому значения, а теперь сообразил: ведь они летом никогда не закрываются, только зимой, в сильный мороз; получается, что игрушки заперты со всех сторон. И ему захотелось их до того, что хоть ложись на землю и кричи. Конечно, он не станет ложиться и кричать, он не маленький, но от этого ему не было легче. Мама и Коростелев все заперли и не беспокоятся, что ему сию минуту нужна лопата. «Как только они проснутся, — думал Сережа, — я сейчас же все-все перенесу в тети Пашину комнату. Не забыть кубик: он еще когда упал за комод и там лежит».

Васька и Женька подошли и стали перед Сережей. И Лида подошла с маленьким Виктором на руках. Они стояли и смотрели на Сережу. А он болтал ногой и не говорил ничего. Женька спросил:

— Ты чего сегодня такой?

Васька сказал:

— У него мать женилась.

Еще помолчали.

— На ком она женилась? — спросил Женька.

— На Коростелеве, директоре «Ясного берега», — сказал Васька. — Ох, его и прорабатывали!

— За что прорабатывали? — спросил Женька.

— Ну — за хорошие, значит, дела, — сказал Васька и достал из кармана мятую пачку папирос.

— Дай закурить, — сказал Женька.

— Да у меня у самого, кажется, последняя, — сказал Васька, но все-таки папиросу дал и, закурив, протянул горящую спичку Женьке. Огонь на кончике спички в солнечном свете прозрачен, невидим; не видать, отчего почернела и скорчилась спичка и отчего задымила папироса. Солнце светило на ту сторону улицы, где собрались ребята; а другая сторона была еще в тени, и листья крапивы там вдоль забора, вымытые росой, темны и мокры. И пыль посреди улицы — на той стороне прохладная, а на этой теплая. И два гусеничных следа по пыли: кто-то проехал на тракторе.

— Переживает Сережка, — сказала Лида Шурику. — Новый папа у него.

— Не переживай, — сказал Васька. — Он дядька ничего себе, по лицу видать. Как жил, так и будешь жить, какое твое дело.

— Он мне купит велосипед, — сказал Сережа, вспомнив вчерашний разговор.

— Обещал купить, — спросил Васька, — или же просто ты надеешься?

— Обещал. Мы вместе в магазин пойдем. В воскресенье. Завтра будет пятница, потом суббота, а потом воскресенье.

— Двухколесный? — спросил Женька.

— Трехколесный не бери, — посоветовал Васька. — На кой он тебе. Ты скоро вырастешь, тебе нужен двухколесный.

— Да врет он все, — сказала Лида. — Никакого велосипеда ему не купят.

Шурик надулся и сказал:

— Мне мой папа тоже купит велосипед. Как будет получка, так и купит.

ПЕРВОЕ УТРО С КОРОСТЕЛЕВЫМ. — В ГОСТЯХ

Загремело железо во дворе. Сережа посмотрел в калитку: это Коростелев снимал болты и отворял ставни. Он был в полосатой рубашке и голубом галстуке, мокрые волосы гладко зачесаны. Он отворил ставни, а мама изнутри толкнула створки окна, они распахнулись, и мама что-то сказала Коростелеву. Он ответил ей, облокотясь на подоконник. Она протянула руки и сжала его лицо в ладонях. Они не замечали, что с улицы смотрят ребята.

Сережа вошел во двор и сказал:

— Коростелев! Мне нужно лопату.



— Лопату?.. — переспросил Коростелев.

— И вообще все, — сказал Сережа.

— Войди, — сказала мама, — и возьми, что тебе надо.

В маминой комнате стоял непривычный запах — табака и чужого дыханья. Чужие вещи валялись тут и там: одежда, щетка, папиросные коробки на столе... Мама расплетала косу. Когда она расплетает свои длинные косы, бесчисленные каштановые змейки закрывают ее ниже пояса; а потом она их расчесывает, пока они не распрямятся и не станут похожи на летний ливень... Из-за каштановых змеек мама сказала:

— С добрым утром, Сереженька.

Он не ответил, занятый видом коробок. Они были пленительны своей новизной и одинаковостью. Он взял одну, она была заклеена, не открывалась.

— Положи на место, — сказала мама, видевшая все в зеркале. — Ты ведь пришел за игрушками?

Кубик лежал за комодом. Сережа, присев на корточки, видел его, но достать не мог: рука не дотягивалась.

— Что ты там пыхтишь? — спросила мама.

— Мне никак, — ответил Сережа.

Вошел Коростелев. Сережа спросил его:

— Ты мне потом отдашь эти коробки?

(Он знал, что взрослые отдают детям коробки тогда, когда то, что в коробках, уже выкурено или съедено.)

— Вот тебе в порядке аванса, — сказал Коростелев.

И подарил Сереже одну коробку, выложив из нее папиросы. Мама попросила:

— Помоги ему. У него что-то завалилось за комод.

Коростелев ухватил комод своими большими руками — старый комод заскрипел, подвинулся, и Сережа без труда достал кубик.

— Здорово! — сказал он, с одобрением посмотрев вверх на Коростелева.

И ушел, прижимая к груди коробку, кубик и еще столько игрушек, сколько смог захватить. Он снес их в комнату тети Паши и свалил на пол, между своей кроватью и шкафом.

— Ты забыл лопату, — сказала мама. — Так срочно она была тебе нужна, а ее-то ты и забыл.

Сережа молча взял лопату и отправился во двор. Ему уже расхотелось копать, он только что задумал переложить свои фантики — бумажки от конфет — в новую коробку; но было неудобно не покопать хоть немножко, когда мама так сказала.

Под яблоней земля рыхлая и легче поддается. Копая, он старался забирать поглубже — на полную лопату. Это была работа не за страх, а за

совесть, он кряхтел от усилий, мускулы напрягались на его руках и на голой узенькой спине, золотистой от загара. Коростелев стоял на террасе, курил и смотрел на него.

Явилась Лида с Виктором на руках и сказала:

— Давай цветов насажаем. Красиво будет.

Она усадила Виктора наземь, прислонив к яблоне, чтобы он не падал. Но он все равно сейчас же упал — на бок.

— Ну, ты, сиди! — прикрикнула Лида, встряхнула его и усадила покрепче. — Глупый ребенок. Другие уже сидят в этом возрасте.

Она говорила нарочно громко, чтобы Коростелев на террасе услышал и понял, какая она взрослая и умная. Искоса поглядывая на него, она принесла ноготков и воткнула в землю, вскопанную Сережей, приговаривая:

— Вот видишь, до чего красиво!

А потом принесла из-под желоба белых и красных камушков и разложила вокруг ноготков. Она растирала землю в пальцах и прихлопывала ладонями, руки у нее стали черные.

— Не красиво разве? — спрашивала она. — Говори, только не ври.

— Да, — признался Сережа. — Красиво.

— Эх, ты! — сказала Лида. — Ничего без меня не умеешь сделать.

Тут Виктор опять упал, на этот раз затылком.

— Ну и лежи, раз ты такой, — сказала Лида.

Виктор не плакал, сосал свой кулак и изумленно смотрел на листья, шевелящиеся над ним. А Лида взяла скакалку, которою была подпоясана

вместо пояса, и принялась скакать перед террасой, громко считая: «Раз, два, три...» Коростелев засмеялся и ушел с террасы.

— Смотри, — сказал Сережа, — по нем муравьи лазиют.

— Фу, дурак! — с досадой сказала Лида, подняла Виктора и стала счищать с него муравьев, и от чистки его платье и голые ноги почернели.

— Моют, моют его, — сказала Лида, — и все он грязный.

Мама позвала с террасы:

— Сережа! Иди одеваться, пойдем в гости.

Он охотно побежал на зов — в гости ходят ведь не каждый день. В гостях хорошо, дают конфеты и показывают игрушки.

— Мы пойдем к бабушке Насте, — объяснила мама, хотя он не спрашивал, — неважно к кому, лишь бы в гости.

Бабушка Настя — серьезная и строгая, на голове белый платочек в крапушку, завязанный под подбородком. У нее есть орден, на ордене Ленин. И всегда она носит черную кошелку с застежкой «молнией». Открывает кошелку и дает Сереже что-нибудь вкусное. А в гостях у нее Сережа еще не был.

Все они нарядились — и он, и мама, и Коростелев — и пошли. Коростелев и мама взяли его за руки с двух сторон, но он скоро вырвался: куда веселей идти самому. Можно остановиться и посмотреть в щелку чужого забора, как там страшная собака сидит на цепи и ходят гуси. Можно убежать вперед и прибежать обратно к маме. Погудеть и пошипеть, изображая паровоз. Сорвать с куста зеленый стручок — пищик — и попищать. Поднять с земли золотую копейку, которую кто-то потерял. А когда тебя ведут, то только руки потеют, и никакой радости.

Пришли к маленькому домику с двумя маленькими окошками на улицу. И двор был маленький, и комнатки. Ход в комнатки был через кухню с огромной русской печкой. Бабушка Настя вышла навстречу и сказала:

— Поздравляю вас.

Должно быть, был какой-то праздник. Сережа ответил, как отвечала в таких случаях тетя Паша:

— И вас также.

Он осмотрелся: игрушек не видно, даже никаких фигурок, что ставят для украшения, — только скучные вещи для спанья и еды. Сережа спросил:

— У вас игрушки есть?

(Может быть, есть, но спрятаны).

— Вот чего нет, того нет, — отвечала бабушка Настя. — Детей маленьких нет, ну и игрушек нет. Съешь конфетку.

Синяя стеклянная вазочка с конфетами стояла на столе среди пирогов. Все сели за стол. Коростелев открыл штопором бутылку и налил в рюмки темно-красное вино.

— Сережке не надо, — сказала мама.

Вечно так: сами пьют, а ему не надо. Как самое лучшее, так ему не дают.

Но Коростелев сказал:

— Я немножко. Пусть тоже за нас выпьет.

И налил Сереже рюмочку, из чего Сережа заключил, что с ним, пожалуй, не пропадешь.

Все стали стучаться рюмками, и Сережа стучался.

Тут была еще одна бабушка. Сереже сказали, что это не просто бабушка, а прабабушка, так он ее чтоб и называл. Коростелев, впрочем, звал ее бабушкой без «пра». Сереже она ужасно не понравилась. Она сказала:

— Он зальет скатерть.

Он действительно пролил на скатерть немного вина, когда стукался. Она сказала:

— Ну, конечно.

И высыпала на мокрое место соль из солонки, недовольно сопя. И потом все время следила за Сережей. На глазах у нее были очки. Она была старая-престарая. Руки коричневые, сморщенные, в шишках, большущий нос загибался вниз, а костлявый подбородок — вверх.

Вино оказалось сладким и вкусным, Сережа выпил сразу. Ему дали пирог, он стал есть и раскрошил. Прабабушка сказала:

— Как ты ешь!

Сидеть было неудобно, он заерзал на стуле. Она сказала:

— Как ты сидишь!

А ему стало горячо в середине, и захотелось петь. Он запел. Она сказала:

— Веди себя как следует.

Коростелев заступился за Сережу:

— Оставьте. Дайте парню жить.

Прабабушка пригрозила:

— Погодите, он вам себя покажет!

Она тоже выпила вина, глаза у нее за очками так и сверкали. Но Сережа крикнул ей храбро:

— Пошла вон! Я тебя не боюсь!

— Какой ужас! — сказала мама.

— Ерунда, — сказал Коростелев. — Сейчас пройдет. Сколько он там выпил.

— Я хочу еще! — крикнул Сережа, потянулся к своей рюмке и опрокинул пустую бутылку. Зазвенела посуда. Мама ахнула. Прабабушка ударила кулаком по столу и воскликнула:

— Вы видите, что делается!

А Сереже захотелось качаться. Он стал качаться из стороны в сторону. И стол с пирогами качался перед ним, и мама, и Коростелев, и бабушка Настя, разговаривая, качались на качелях, — это было смешно, Сережа хохотал. Вдруг он услышал пение. Это пела прабабушка. Держа очки в шишковатой руке и размахивая ими, пела о том, как выходила на берег Катюша, выходила, песню заводила. Под прабабушкино пение Сережа заснул, положив голову на кусок пирога.

...Проснулся — прабабушки не было, а остальные пили чай. Они улыбнулись Сереже. Мама спросила:

— Пришел в себя? Не будешь больше буяннить?

«Разве я буянил?» — подумал Сережа, удивившись.

Мама достала из сумочки гребешок и причесала Сережу. Бабушка Настя сказала:

— Съешь конфетку.

В соседней комнате, за пестрой полинялой занавеской, повешенной вместо двери, кто-то храпел: хрр! хрр! — Сережа осторожно отодвинул занавеску, заглянул и обнаружил, что там на кровати спит прабабушка. Сережа чинно отошел от занавески и сказал:

— Пошли домой. Надоело в гостях.

Прощаясь, он услышал, что Коростелев назвал бабушку Настю «мама». Сережа и не знал, что у Коростелева есть мама, он думал, Коростелев и бабушка Настя просто знакомые.

Обратный путь показался Сереже долгим и неинтересным. Сережа подумал: «Пусть-ка Коростелев меня понесет, раз он мой папа». Ему случилось видеть, как отцы носят сыновей на плече. Сыновья сидят и задаются, и им, должно быть, далеко видно сверху. Сережа сказал:

— У меня ноги заболели.

— Уже близко, — сказала мама. — Потерпи.

Но Сережа забежал спереди и охватил колени Коростелева.

— Ты же большой, — сказала мама, — как не стыдно проситься на руки!
— Но Коростелев поднял Сережу и усадил к себе на плечо.



Сережа очутился очень высоко. Ему ни капельки не было страшно: не мог такой великан, запросто сдвигающий с места комоды, его уронить. С высоты было видно, что делается во дворах за заборами и даже на крышах; прекрасно видно! Это увлекательное зрелище занимало Сережу всю дорогу. Гордо посматривал он вниз на встречных мальчиков, идущих на собственных

ногах. И с ощущением новых крупных своих преимуществ прибыл домой — на отцовском плече, как положено сыну.

КУПИЛИ ВЕЛОСИПЕД

И на этом же плече он отправился в воскресенье в магазин за велосипедом.

Воскресенье наступило внезапно, раньше, чем он надеялся, и Сережа сильно взволновался, узнав, что оно наступило.

— Ты не забыл? — спросил он Коростелева.

— Как же я забуду, — ответил Коростелев, — сходим обязательно, вот только управлюсь маленько с делами.

Насчет дел он соврал. Никаких дел у него не оказалось, просто он сидел и разговаривал с мамой. Разговор был непонятный и неинтересный, но им нравился, они говорили да говорили. Особенно мама длинно говорит: одно и то же слово повторяет зачем-то сто раз. От нее и Коростелев этому учится. Сережа кружит вокруг них, стихший от внутреннего возбуждения, весь сосредоточенный на одной мысли, и ждет — когда же им надоест их занятие.

— Ты все понимаешь, — говорит мама. — До чего я рада, что ты все понимаешь.

— Сказать откровенно, — отвечает Коростелев, — я до тебя мало понимал в данном вопросе. Многого я не понимал, только тогда и стал понимать, когда — ты понимаешь.

Они берутся за руки, словно играют в «золотые ворота».

— Я была девочка, — говорит мама. — Мне казалось, что я счастлива безумно. Потом мне казалось, что я умру от горя. А сейчас кажется, что все это приснилось...

Она напала на новое слово и твердит его, закрыв свое лицо коростелевскими большими руками:

— Приснилось, понимаешь? Как сны снятся. Это во сне было. Мне снился сон. А наяву — ты...

Коростелев прерывает ее и говорит:

— Я тебя люблю.

Мама не верит:

— Правда?

— Люблю, — подтверждает Коростелев. А мама все равно не верит:

— Правда — любишь?

«Сказал бы ей „честное пионерское“ или „провалиться мне на этом месте“, — думает Сережа, — она бы и поверила».

Коростелеву надоело отвечать, он умолк и смотрит на маму. А она на него. Они смотрят так, наверно, целый час. Потом мама говорит:

— Я тебя люблю. (Как в игре, когда все по очереди говорят то же самое.)

«Когда это кончится?» — думает Сережа.

Кое-какое знание жизни подсказывает ему, однако, что не следует приставать к взрослым, когда они увлечены своими разговорами: взрослые этого не выносят, они могут рассердиться, и неизвестно, какие будут последствия. И он лишь осторожно напоминает о себе, оставаясь у них на виду и тяжело вздыхая.

И настал-таки конец его мученьям. Коростелев сказал:

— Я на часок уйду, Марьяша, мы с Сережкой договорились сходить тут по одному делу.

Ноги у него длинные, не успел Сережа оглянуться, как вот она — площадь, где магазины. Здесь Коростелев спустил Сережу на землю, и они подошли к магазину игрушек.

В магазинном окне кукла с толстыми щеками улыбалась, расставив ноги в настоящих кожаных башмаках. Синие медведи сидели на красном барабане. Пионерский горн горел золотом. У Сережи дух захватило от предвкушения счастья... Внутри магазина играла музыка. Какой-то дядька сидел на стуле с гармонью в руках. Он не играл, а только время от времени растягивал гармонь, она издавала надрывный рыдающий стон и опять смолкала, а бойкая музыка слышалась из другого места, со стойки. Празднично одетые дядьки в галстуках стояли перед стойкой и слушали музыку. За стойкой находился старичок-продавец. Он спросил у Коростелева:

— Вы что хотели?

— Детский велосипед, — сказал Коростелев.

Старичок перегнулся через стойку и заглянул на Сережу.

— Трехколесный? — спросил он.

— На кой мне трехколесный... — ответил Сережа дрогнувшим от переживаний голосом.

— Варя! — крикнул старичок.

Никто не пришел на его зов, и он забыл о Сереже — ушел к дядькам и что-то там сделал, и бойкая музыка оборвалась, раздалась медленная и печальная. К великому беспокойству Сережи, и Коростелев словно забыл, зачем они сюда пришли: он тоже перешел к дядькам, и все они стояли неподвижно, глядя перед собой, не думая о Сереже и его трепетном ожидании... Сережа не выдержал и потянул Коростелева за пиджак. Коростелев очнулся и сказал, вздохнув:

— Великолепная пластинка!

— Он нам даст велосипед? — звонко спросил Сережа.

— Варя! — крикнул старичок.

Очевидно, от Вари зависело — будет у Сережи велосипед или не будет. И Варя пришла наконец, она вошла через низенькую дверку за стойкой, между полками, в руке у Вари был бублик, она жевала, и старичок велел ей принести из кладовой двухколесный велосипед. «Для молодого человека», — сказал он. Сереже понравилось, что его так назвали.

Кладовая помещалась, несомненно, за тридевять земель, в тридесятом царстве, потому что Вари не было целую вечность. Пока она пропадала, тот дядька успел купить гармонь, а Коростелев купил патефон. Это ящик, в него вставляют круглую черную пластинку, она крутится и играет — веселое или грустное, какого захочется; этот-то ящик и играл на стойке. И много пластинок в бумажных мешках купил Коростелев, и две коробки каких-то иголок.

— Это для мамы, — сказал он Сереже. — Мы ей принесем подарок.

Дядьки со вниманием смотрели, как старичок заворачивает покупки. А тут явилась из тридесятого царства Варя и принесла велосипед. Настоящий велосипед со спицами, звонком, рулем, педалями, кожаным седлом и маленьким красным фонариком! И даже у него был сзади номер на железной дощечке — черные цифры на желтой дощечке!

— Вы будете иметь вещь, — сказал старичок. — Крутите руль. Звоните в звонок. Жмите педали. Жмите, чего вы на них смотрите! Ну? Это вещь, а не что-нибудь. Вы будете каждый день говорить мне спасибо.

Коростелев добросовестно крутил руль, звонил в звонок и давил на педали, а Сережа смотрел почти с испугом, приоткрыв рот, коротко дыша, едва веря, что все эти сокровища будут принадлежать ему.

Домой он ехал на велосипеде. То есть — сидел на кожаном седле, чувствуя его приятную упругость, держался неуверенными руками за руль и пытался овладеть ускользающими, непослушными педалями. Коростелев,

согнувшись в три погибели, катил велосипед, не давая ему упасть. Красный и запыхавшийся, он довез таким образом Сережу до калитки и прислонил к лавочке.

— Теперь сам учись, — сказал он. — Запарил ты меня, брат, совсем.

И ушел в дом. А к Сереже подошли Женька, Лида и Шурик.



— Я уже немножко научился! — сказал им Сережа. — Отойдите, а то я вас задавлю!

Он попробовал отъехать от лавочки и свалился.

— Фу ты! — сказал он, выбираясь из-под велосипеда и смеясь, чтобы показать, что ничего особенного не случилось. — Не туда крутнул руль. Очень трудно попадать на педали.

— Ты разуйся, — посоветовал Женька. — Босиком лучше — пальцами цепляться можно. Дай-ка я попробую. А ну, подержите. — Он взобрался на сиденье. — Держите крепче.

Но хотя его держали трое, он тоже свалился, а с ним за компанию Сережа, державший усерднее всех.

— Теперь я, — сказала Лида.

— Нет, я! — сказал Шурик.

— Пылица чертова, — сказал Женька. — По ней разве научишься. Пошли в Васькин проулок.

Так они называли короткий непроезжий переулок-тупик, лежавший позади Васькиного сада. По другую сторону переулка находился дровяной склад, обнесенный высоким забором. Кудрявая, мягкая, низенькая травка росла в этом тихом переулке, где так уютно было играть, удалясь от взрослых. И хотя тупым концом он упирался в тимохинский огород, и две матери — Васькина и Шурикина — равноправно выплескивали из-за своих плетней мыльные помои на кудрявую травку, — но никто ведь не усомнится в том, что первый человек в этих местах — Васька; потому и переулок был назван Васькиным именем.

Туда повел велосипед Женька. Лида и Шурик помогали, споря по дороге, кто первый будет учиться кататься, а Сережа бежал сзади, хватаясь за колесо.

Женька, как старший, объявил, что первым будет он. За ним училась Лида, за Лидой Шурик. Потом Сереже дали поучиться, но очень скоро Женька сказал:

— Хватит! Слазь! Моя очередь!

Сереже страшно не хотелось слезать, он вцепился в велосипед руками и ногами и сказал:

— Я хочу еще! Это мой велисапед!

Но сейчас же Шурик его выругал, как и следовало ожидать:

— У, жадина!

А Лида добавила нарочно противным голосом:

— Жадина-говядина!

Быть жадиной-говядиной очень стыдно; Сережа молча слез и отошел. Он удалился к тимохинскому плетню и, стоя к ребятам спиной, заплакал. Он плакал потому, что ему было обидно; потому, что он не умел постоять за себя; потому, что ничего на свете ему сейчас не нужно, кроме велосипеда, а они, грубые и сильные, этого не понимают!

Они не обращали на него внимания. Он слышал их громкие споры, звонки и железный лязг падающего велосипеда. Его никто не позвал, не сказал: «Теперь ты». Они катались уже по третьему разу! А он стоял и плакал. Как вдруг за своим плетнем появился Васька.

Появился, голый до пояса, в слишком длинных — на вырост — штанах, подпоясанных ремешком, в кепке козырьком назад, — подавляющая, сильная личность! Какую-нибудь минутку смотрел он через плетень и все понял.

— Эй! — крикнул он. — Вы чего делаете? Велисапед кому купили — ему или вам? Иди давай, Сергей!

Он перескочил через плетень и взялся за руль властной рукой. Женька, Лида и Шурик смиренно отступили. Сережа приблизился, рукавом утирая слезы. Лида пискнула было:

— Две жадины!

— А ты — паразитка, — ответил Васька. И еще сказал про Лиду нехорошие слова. — Не могла обождать, пока маленький научится. — И велел Сереже: — Садись.

Сережа сел и долго учился. И все ребята помогали ему, кроме Лиды, — она сидела на траве, плела венки из одуванчиков и делала вид, что ей гораздо веселее, чем тем, кто ездит на велосипеде. Потом Васька сказал:

— Теперь я, — и Сережа с удовольствием уступил ему место, он все готов был сделать для Васьки. Потом Сережа катался уже сам, без помощи, и почти не падал, только велосипед вилял во все стороны, и Сережа нечаянно попал ногой в колесо, и

четыре спицы вывалились, но ничего, велосипед все равно ездил. Потом Сереже стало жалко ребят, он сказал:

— И они пускай. Будем все по разу.

Тетя Паша вышла во двор, услышав на улице Сережин плач.



Отворилась калитка, гуськом вошли ребята. Впереди шел Сережа, он нес велосипедный руль; Васька нес раму, Женька — два колеса, на каждом плече по колесу; Лида — звонок; а сзади семенил Шурик с пучком велосипедных спиц.

— Господи ты боже мой! — сказала тетя Паша.

Шурик сказал басом:

— Это он сам. Он ногой в колесо попал.

Вышел Коростелев и удивился.

— Ловко вы его, — сказал он.

Сережа горько плакал.

— Не горюй, починим, — пообещал Коростелев. — Отдадим в мастерскую — будет как новый.

Сереза только рукой махнул и ушел плакать в тети Пашину комнату: это Коростелев просто так говорит, чтобы утешить; разве можно из этих обломков сделать прежний прекрасный велосипед? тот, что ехал, и звонил, и сверкал спицами на солнце? Невозможно, невозможно! Все пропало, все! Сереза убивался целый день, не радовал его и патефон, который для него специально заводил Коростелев. «Загудели, заиграли провода! Мы такого не видали никогда!» — на всю улицу бешено веселился ящик с пластинкой, а Сереза слушал и не слышал, думал о своем, безотрадно качая головой.

...Но что вы думаете — велосипед действительно починили, Коростелев не надул! Его починили слесари в совхозе «Ясный берег». Только чтоб большие ребята на нем не катались, сказали слесари; а то он опять развалится. Васька и Женька послушались, катались с тех пор Сереза да Шурик, да Лида каталась потихоньку от взрослых, но Лида худая и не очень тяжелая, пусть уж ее.

Сереза здорово научился ездить, научился даже съезжать с горки, бросив руль и сложив руки на груди, как — видел он — делал один ученый велосипедист. Но почему-то уже не было у Серезы того счастья обладания, того восторга вздох, как в первые блаженные часы...

А там и надоел ему велосипед. Стоял в кухне со своим красным фонариком и серебряным звонком, красивый и исправный, а Сереза пешком отправлялся по делам, равнодушный к его красоте: надоело, и все, что ж тут сделаешь.

КАКАЯ РАЗНИЦА МЕЖДУ КОРОСТЕЛЕВЫМ И ДРУГИМИ

Сколько ненужных слов у взрослых! Вот, например: пил Сереза чай и пролил; тетя Паша говорит:

— Экий неаккуратный! Не настачишься на тебя скатертей! Не маленький уж, кажется!

Тут все слова ненужные, по Серезиному мнению. Во-первых, он их слышал уже сто раз. А во-вторых, и без них понимает, что виноват: как пролил, так сразу понял и огорчился. Ему стыдно и хочется одного — чтобы она поскорей убрала скатерть, пока другие не видели. Но она говорит еще и еще:

— Никогда ты не подумаешь, что кто-то эту скатерть стирал, крахмалил, гладил, старался...

— Я не нарочно, — объясняет ей Сережа. — У меня чашка из пальцев выскочила.

— Скатерть старенькая, — не унимается тетя Паша, — а я ее штопала, целый вечер сидела, сколько труда вложила.

Как будто если скатерть новая, то можно ее обливать.

В заключение тетя Паша говорит возмущенно:

— Если бы ты это нарочно сделал! Этого не хватало!

То же самое говорится, если Сережа разобьет что-нибудь. А когда они сами бьют стаканы и тарелки, то как будто так и надо.

Или как, например, мама заботится, чтобы он говорил «пожалуйста», а это слово даже и не значит ничего.

— Оно обозначает просьбу, — сказала мама. — Ты у меня просишь карандаш и в знак того, что это просьба, ты добавляешь: пожалуйста.

— А ты не поняла, — спросил Сережа, — что я у тебя попросил карандаш?

— Поняла, но без «пожалуйста» — это невежливо, невоспитанно. На что это похоже — «дай карандаш»? А если ты скажешь: «Дай карандаш, пожалуйста», — это вежливо, и я с удовольствием дам.

— А если не скажу — без удовольствия дашь?

— Совсем не дам! — сказала мама.

— Хорошо, пожалуйста, — Сережа говорит им «пожалуйста», — при всех своих странностях они сильны и властвуют над детьми, они могут дать или не дать Сереже карандаш, как им вздумается.

Вот Коростелев не беспокоится о пустяках, даже внимания не обращает — сказал Сережа «пожалуйста» или не сказал.

И если Сережа занят в своем уголке и ему нельзя, чтобы его отрывали, — Коростелев никогда не разрушит его игру, не скажет что-нибудь глупое, вроде: «А ну, иди, я тебя поцелую!» — как Лукьяныч говорит, придя с работы. Поцеловав Сережу своей жесткой бородкой, Лукьяныч дает ему шоколадку или яблоко. Спасибо, но зачем же, скажите пожалуйста, непременно целоваться и отрывать человека от игры, — игра важнее яблока, яблоко Сережа и потом бы съел.

...В дом ходят разные люди — по большей части к Коростелеву. Чаще всех бывает дядя Толя. Он молодой и красивый, у него длинные черные ресницы, белые зубы и застенчивая улыбка. Сережа питает к нему почтение и интерес, потому что дядя Толя умеет сочинять стихи. Его уговаривают прочесть новый стишок, он сперва стесняется и отказывается, потом встает, отходит в сторонку и читает наизусть. Про что он не насочинял стихов: и про войну, и про мир, и про колхозы, и про фашистов, и про весну, и про какую-то женщину с синими глазами, которую он все ждет, все ждет и никак не может дожидаться. Великолепные стихи! Совершенно такие же певучие и гладкие, как в книжках. Перед чтением дядя Толя откашливается и откидывает рукой свои черные волосы; а читает громко, глядя на потолок. Все его хвалят, и мама наливает ему чаю. За чаем разговаривают о коровьих болезнях: дядя Толя в совхозе «Ясный берег» лечит коров.

Но не все приходящие в дом такие занимательные и приятные. Дяди Пети, например, Сережа сторонится: у него лицо противное, а голова бледно-розовая и голая, как целлулоидный мячик. И смех противный: «гы-гы-гы-гы!» Однажды, сидя на террасе с мамой, — Коростелева не было, — дядя Петя подозвал Сережу и дал ему конфету, большую и редкую — «Мишка косопалый». Сережа вежливо сказал: «Спасибо», развернул бумажку, а в ней ничего — пустышка. Сереже стало совестно — за себя, что поверил, и за дядю Петю, что тот обманул. Сережа увидел, что и маме совестно, она тоже поверила...

— Гы-гы-гы-гы! — засмеялся дядя Петя.

Сережа сказал не сердито, с сожалением:

— Дядя Петя, ты дурак?

Он был уверен, что мама с ним согласна. Но она воскликнула:

— Это что такое! Извинись сейчас же!

Сережа посмотрел на нее удивленно.

— Ты слышал, что я сказала? — спросила мама.

Он молчал. Она взяла его за руку и увела в дом.

— Не смей и подходить ко мне, — сказала она. — Не хочу с тобой разговаривать, раз ты такой грубиян.

Она постояла, ожидая, что он раскается и попросит прощенья. Он сжал губы и отвел глаза, ставшие грустными и холодными. Он не чувствовал себя виноватым; в чем же он должен просить прощенья? Он сказал то, что подумал.

Она ушла. Он побрел к себе и занялся игрушками, бессознательно стараясь отвлечься от случившегося. Его тоненькие пальцы дрожали; перебирая фигуры, вырезанные из старых карт, он нечаянно оторвал черной даме одну голову... Почему мама заступилась за глупого дядю Петю? Вон она с ним разговаривает и смеется как ни в чем не бывало; а с Сережей не хочет разговаривать...

Вечером он слышал, как она рассказывала о происшествии Коростелеву.

— Ну и правильно, — сказал Коростелев. — Это называется — справедливая критика.

— Разве можно допустить, — возразила мама, — чтобы ребенок критиковал взрослых? Если дети примутся нас критиковать — как мы их будем воспитывать? Ребенок должен уважать взрослых.

— Да за что ему, помилуй, уважать этого олуха! — сказал Коростелев.

— Обязан уважать. У него даже мысль не должна возникнуть, что взрослый может быть олухом. Пусть сначала дорастет до этого самого Петра Ильича, а потом уж его критикует.

— По-моему, — сказал Коростелев, — он давно умственно перерос Петра Ильича. И ни по какой педагогике нельзя взыскивать с парня за то, что он дурака назвал дураком.

Про критику и педагогику Сережа не понял, а про дурака понял и почувствовал к Коростелеву благодарность за эти слова.

Хороший человек Коростелев, странно подумать, что прежде он жил отдельно от Сережи, с бабушкой Настей и прабабушкой, и только изредка приходил в гости.

Он берет Сережу с собой на речку, купаться; и учит плавать. Мама боится, что Сережа утонет, а Коростелев смеется. Он снял с Сережиной кровати боковую сетку. Мама боялась, что Сережа упадет и расшибется, но Коростелев сказал:

— А вдруг поездом придется ехать? На верхней полке? Пусть привыкает по-взрослому.

Теперь Сереже не надо перелезать через сетку по утрам и по вечерам. Раздевается он, сев на край постели. И спит по-взрослому.

Один раз, говорят, он свалился с кровати. Это было ночью; они услышали, как он упал, и положили его обратно, а утром рассказали ему, что с ним было. Он ничего не помнил и не ушибся нигде. А если не ушибся и не помнишь, то это не в счет.

А вот как-то он упал во дворе, ссадил колени в кровь и пришел домой плача. Тетя Паша заахала и побежала за бинтом. Коростелев сказал:

— Что ты, брат. Сейчас пройдет. А на войну пойдешь и ранят, как же ты тогда?..

— А тебя когда ранили, — спросил Сережа, — ты не плакал?

— Как же бы я плакал: надо мной бы товарищи смеялись. Мы — мужчины, такое уж наше дело.

Сережа перестал плакать и сказал: «ха, ха, ха!» — чтобы доказать свою мужскую сущность. И когда тетя Паша приступила к нему с бинтом, он сказал бесшабашно:

— Завязывай, не бойся! Мне не больно!

Коростелев рассказал ему про войну. С тех пор, сидя с ним рядом за столом, Сережа испытывал гордость: если будет война, кто пойдет воевать? Мы с Коростелевым. Такое уж наше дело. А мама, тетя Паша и Лукьяныч останутся тут ждать, пока мы победим, такое уж ихнее дело.

ЖЕНЬКА

Женька — сирота, живет с теткой и сестрой. Сестра ему не родная — теткина дочка. Днем она на работе, а вечером гладит. Она свои платья гладит. Все возится во дворе с большим утюгом, который разогревается угольками. То она дует в утюг, то плюет на него, то наденет на него самоварную трубу. А волосы у нее накручены сардельками на железные штучки.

Выгладив себе платье, она наряжается, распускает волосы и уходит в Дом культуры танцевать. А на другой вечер опять хлопочет с утюгом во дворе.

Тетка тоже работает. Она жалуется, что она и уборщица, и кульер, и платят ей только как уборщице, а по штату кульер полагается особо. Она подолгу стоит с ведрами на углу, у водопроводного крана, и рассказывает женщинам, как она отбрила своего заведующего и какое на него написала заявление.

На Женьку тетка сердится, что он много ест и ничего не делает в доме.

А ему не хочется делать. Он встанет утром, поест, что ему оставили, и идет к ребятам.

Весь день он на улице или у соседей. Тетя Паша его кормит, когда он заходит. Перед тем как тетке вернуться с работы, Женька идет домой и садится за уроки. Ему на лето задана целая куча уроков, потому что он отстающий: во втором классе учился два года, в третьем два года, и в четвертом тоже остался на второй год. Когда он пошел в школу, Васька был еще маленький, а теперь Васька его догнал, несмотря на то что тоже сидел два года в третьем классе.

А по росту и по силе Васька даже обогнал Женьку...

Сначала учителя за Женьку волновались, вызывали тетку и сами к ней ходили, а она им говорила:

— Навязалось мне счастье на голову, делайте с ним что хотите, а у меня возможности нет, он меня объел всю, если хотите знать.

А женщинам жаловалась:

— Устройте ему, говорят, для занятий уголок. Ему не уголок, а плетку бы хорошую, только потому и жалею, что от покойной сестры.

Потом учителя перестали ходить. И даже хвалили Женьку: очень, говорили, дисциплинированный мальчик; другие на уроках шумят, а он сидит тихо, — одно жалко, что редко ходит в школу и ничего не знает.

Они ставили Женьке пятерки за поведение. И еще по пению у него пятерка. А по остальным предметам двойки и единицы.

Перед теткой Женька делает вид, что занимается, чтобы она на него меньше кричала. Она приходит, а он сидит за кухонным столом, где наставлена грязная посуда и валяются тряпки, — сидит и пишет цифры, решая задачу.

— Ты что же, василиск, — начинает тетка, — опять ни воды не принес, ни за керосином не ходил, ничего? Я с тобой, что же, век буду мучиться, рахитик?

— Я занимался, — отвечает Женька.

Тетка кричит — он, укоризненно вздохнув, кладет перо и берет бидон для керосина.

— Ты надо мной смеешься или что?! — кричит тетка не своим голосом.
— Ты же знаешь, лукавый, что лавка уже закрыта!!

— Ну, закрыта, — соглашается Женька. — Чего же вы ругаетесь?

— Иди дрова коли!!! — кричит тетка с такой насадой, что кажется — сию минуту у нее разорвется горло. — Иди, чтоб я тебя без дров тут не видела!!!

Она хватает с лавки ведра и, воинственно размахивая ими, с криком мчится по воду, а Женька не спеша уходит в сарай колоть дрова.

Тетка говорит неправду, будто он ленивый. Ничего подобного. Тетя Паша его о чем-нибудь попросит или ребята — он с удовольствием делает. Его похвалят — он рад и старается сделать как можно лучше. Он как-то вместе с Васькой целый метр дров наколот и сложил.

И что он неспособный, тоже неправда. Сереже подарили железный конструктор, так Женька с Шуриком такой сделали семафор, что с улицы Калинина ребята приходили смотреть: с красным и зеленым огоньками был семафор. Шурик в этом деле сильно помог, он в машинах здорово понимает, потому что у него папа — шофер Тимохин, но Шурик не додумался, что можно взять из Сережиных елочных украшений цветные лампочки и приспособить к семафору, а Женька додумался.

Из Сережиного пластилина Женька лепит человечков и зверей — ничего, похоже. Сережина мама увидела и купила ему тоже пластилин. Но

тетка раскричалась, что не разрешит Женьке заниматься глупостями, и выбросила пластилин в уборную.

От Васьки Женька научился курить. Папирос купить ему не на что, он курит Васькины; и когда найдет окурочек на улице, то поднимает и курит. Сережа, жалея Женьку, тоже подбирает с земли окурки и отдает ему.

Перед младшими Женька не задается, как Васька, — охотно играет с ними во что угодно: в войну так в войну, в милиционеров так в милиционеров, в лото так в лото. Но, как старший, он хочет быть генералом или начальником милиции. А когда играют в лото с картинками и он выигрывает, он рад; а если не выигрывает, то обижается.

Лицо у него доброе, с большими губами, большие уши торчат, а на шее сзади косички, потому что стрижется он редко.

Как-то пошли Васька с Женькой в рощу и Сережу взяли. В роще разожгли костер, чтобы испечь картошку. Они с собой принесли картошек, соли и зеленого лука. Костер горел вяло, дымя горьким дымом. Васька сказал Женьке:

— Поговорим про твое будущее.

Женька сидел, подняв колени к подбородку и охватив их, узкие штаны его вздернулись, открывая тощие ноги. Не отрываясь глядел он на плотные дымовые струйки, сизые и желтые, вытекающие из костра.

— Школу, как ни думай, кончать придется, — продолжал Васька таким тоном, словно он был круглый отличник и старше Женьки по крайней мере на пять классов. — Без образования — кому ты нужен?

— Это-то ясно, — согласился Женька. — Без образования я никому не нужен.

Он взял ветку и разгреб костер, чтобы тот горел веселей. Сырые сучья шипели, из них текла слюна, разгоралось медленно. Вокруг полянки, на которой сидели ребята, пышно росли береза, осина и ольха. В играх ребята

воображали эти заросли дремучим лесом. Весной там много ландышей, а летом много комаров. Сейчас комары отступили, потревоженные дымом; но отдельные храбрецы и сквозь дым налетали и кусались, и тогда ребята звонко шлепали себя по ногам и щекам.

— А тетку поставь на место, и все, — посоветовал Васька.

— Попробуй! — возразил Женька. — Попробуй, поставь ее на место!

— Или не обращай внимания.

— Да я и не обращаю. Просто она мне надоела. Просто, ты же видишь, — в печенки въелась.

— А Люська ничего?

— Люська ничего. Люська — что, она замуж устроится.

— За кого?

— Ну, за кого-нибудь. У нее план — за офицера, да тут офицеров нету. Она, может быть, поедет куда-нибудь, где есть офицеры.



Костер разгорелся: огонь одолел влагу и охватил груды сучьев и листья, прыгая озорными острыми язычками. Что-то в нем выстрелило, как из пистолета. Дыма больше не было.

— Сбегай, — велел Васька Сереже, — поищи сухого — подбросить...

Сережа побежал исполнять поручение. Когда он вернулся, говорил Женька, а Васька слушал со вниманием и деловито.

— Как бог буду жить! — говорил Женька. — Ты подумай: вечером придешь в общежитие — постель у тебя, тумбочка... Ляжь и слушай радио или играй в шашки, никто не орет над ухом... Лектора к тебе ходят, артисты... И поужинать дадут в восемь часов...

— Да, — сказал Васька, — культурно. А тебя примут?

— Я подам заявление. Почему ж не примут. Наверно, примут.

— Ты с какого года?

— Я с тридцать третьего года. Мне на той неделе четырнадцать было.

— Тетка не возражает?

— Она не возражает, только она боится, что если я уеду, то я ей потом не буду помогать.

— А ну ее, — сказал Васька и прибавил нехорошие слова.

— Да я все равно, наверно, уеду, — сказал Женька.

— Ты, главное, прими решение и действуй, — сказал Васька. — А то «наверно» да «наверно», а учебный год начнется — и пойдет твоя волынка опять сначала.

— Да, я, наверно, приму решение, — сказал Женька, — и буду действовать. Я, Вася, знаешь, часто об этом мечтаю. Как вспомню, что уже скоро первое сентября, — так мне нехорошо, так нехорошо...

— Еще бы! — сказал Васька.

Они беседовали о Женькиных планах, пока пеклась картошка. Потом поели, обжигая пальцы и с хрустом разгрызая толстый трубчатый лук, и легли отдыхать. Солнце спускалось; стволы берез стали розовыми; на маленькой полянке, где посредине в сером пепле еще таились невидимые искры, лежала тень. Сереже товарищи велели отгонять комаров. Он сидел и добросовестно махал веткой над спящими, а сам думал: неужели Женька, когда станет рабочим, будет отдавать деньги тетке, которая только кричит на него, это несправедливо! Впрочем, скоро и он заснул, пристроившись между Васькой и Женькой. Ему приснились офицеры и с ними Люська, Женькина сестра.

Женька не был решительным человеком, он больше любил мечтать, чем действовать, но первое сентября близилось, в школе закончили ремонт, школьники уже ходили туда за тетрадками и учебниками, Лида хвалилась новым форменным платьем, вплотную подходил школьный год со всеми его неприятностями, и Женька принял решение. Если не в ремесленное, то в фезе-о, может быть, возьмут, сказал он. В общем, он решил уезжать.

Многие одобряли его и старались ему помочь. Школа написала характеристику, Коростелев и мама дали Женьке денег, и даже тетка испекла ему на дорогу коржики.

В утро его отъезда тетка попрощалась с ним без криков и попросила не забывать, сколько она для него сделала. Он сказал: «Хорошо, тетя». И добавил: «Спасибо». После этого она ушла в свою контору, а он стал собираться.

Тетка ему подарила деревянный чемодан, выкрашенный зеленой краской. Она долго колебалась, ей жалко было чемодана, но все-таки подарила, сказав: «С мясом от себя отрываю». В этот чемодан Женька уложил рубашку, пару рваных носков, застиранное полотенце и коржики. Ребята смотрели, как он укладывался.

Сережа вдруг сорвался с места и выбежал. Он вернулся запыхавшись, в руках у него был семафор с лампочками — зеленой и красной: он так нравился всем, семафор, что его не разобрали, он стоял на столике, и его показывали гостям.

— Возьми! — сказал Сережа Женьке. — Возьми с собой, мне не надо, он просто так стоит!

— А чего я с ним там буду делать, — сказал Женька, посмотрев на семафор. — И без него килограмм пятнадцать тянуть.

Тогда Сережа опять умчался и примчался с коробкой.

— Ну, это возьми! — сказал он взволнованно. — Ты там будешь лепить. Он легкий.

Женька взял коробку и открыл. В ней были куски пластилина. На Женькином лице мелькнуло удовольствие.

— Ладно, — сказал он, — возьму. — И положил коробку в чемодан.

Тимохин обещал отвезти Женьку на станцию: до станции тридцать километров, железная дорога к городу еще не построена... Но как раз накануне тимохинская машина забастовала, мотор отказал, его ремонтируют, а Тимохин спит, сказал Шурик.

— Наплевать! — сказал Васька. — Доедешь.

— На автобусе можно, — сказал Сережа.

— Ловкий ты! — возразил Шурик. — На автобусе платить надо.

— Выйду на шоссе и проголосую, — сказал Женька, — кто-нибудь, наверно, довезет.

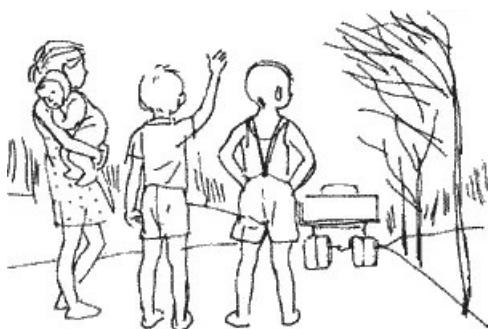
Васька подарил ему пачку папирос. А спичек у него не было, спички Женька взял теткины. Все они вышли из теткиного дома. Женька навесил на дверь замок и положил ключ под крыльцо. Пошли. Чемодан был тяжелый как черт, — не от того, что в нем лежало, а сам по себе; Женька нес его то в одной руке, то в другой. Васька нес Женькино пальто, а Лида маленького Виктора. Она несла его, выпятив живот, и часто встряхивала, говоря: «Ну, ты! Сиди! Чего тебе надо!»

Было ветрено. Вышли за город, на шоссе, — там пыль крутилась столбами, запорашивая глаза. Под ветром серая трава и выцветшие васильки у края шоссе, дрожа, припадали к земле. Как будто совсем безмятежные облака, круглые и белые, стояли в ярко-синем небе, не грозя ничем, но пониже быстро приближалась черная туча, вихрясь лохматыми лапами, и казалось, что это от нее рвется ветер и веет по временам сквозь пыль что-то острое, свежее и облегчает грудь... Ребята остановились, поставили чемодан и стали ждать машины. Как назло, машины всё шли со станции, в город. Наконец показался грузовик с другой стороны. Он был высоко нагружен ящиками, но возле шофера никого не было. Ребята подняли руки. Шофер поглядел и проехал. Потом в клубах пыли показался черный «газик», почти пустой, — кроме шофера, в нем был всего один человек; но и он проехал, не остановившись.

— Вот дьявол! — выругался Шурик.

— А вы чего голосуете! — сказал Васька. — Я вам проголосую! Они же думают — всю роту надо везти! Пускай Женька один голосует! Вон еще какой-то драндулет.

Ребята повиновались, и когда драндулет с ними поравнялся, никто не поднял руку, кроме Женьки и Васьки: Васька нарушил собственный приказ, — большие мальчики всегда позволяют себе то, что они запрещают младшим...



Драндулет проскочил вперед и остановился. Женька подбежал к нему с чемоданом, а Васька с пальто. Щелкнула дверца, Женька исчез в машине, а за Женькой исчез Васька. Потом все заслонило облако газа и пыли; когда оно улеглось, на шоссе не было ни Васьки, ни Женьки, и уже далеко виднелся удаляющийся драндулет. Хитрюга Васька, никого не предупредил,

не намекнул даже, что поедет провожать Женьку на станцию. Остальные ребята пошли домой. Ветер дул в спину, толкал вперед и хлестал Сережу по лицу его длинными волосами.

— Она ему никогда ничего не пошила, — сказала Лида. — Он обноски носил.

— У нее заведующий сволочь, — сказал Шурик. — Не хочет платить ей как культуре. А она имеет право.

А Сережа шел, подгоняемый ветром, и думал — какой счастливый Женька, что поедет на поезде, Сережа еще ни разу не ездил на поезде... День почернел и вдруг озарился мигающей яростной вспышкой, гром бабахнул как из пушки над головами, и сейчас же бешено хлынул ливень... Ребята побежали, скользя в мгновенно образовавшейся грязи, ливень сек их и пригибал вниз, молнии прыгали по всему небу, и сквозь грохот и раскаты грозы был слышен плач маленького Виктора...

Так уехал Женька. Через сколько-то времени от него пришло два письма: одно Ваське, другое тетке. Васька никому ничего не рассказал, сделал вид, что в письме заключены невесть какие мужские тайны. Тетка же не секретничала и всем сообщала, что Женю, слава богу, приняли в ремесленное. Живет в общежитии. Выдали ему казенное обмундирование. «Пристроила-таки его, — говорила тетка, — в люди выйдет, а через кого, через меня».

Женька не был ни коноводом, ни затейником; ребята скоро привыкли к тому, что его нет. Вспоминая о нем, они радовались, что ему хорошо, у него есть тумбочка и к нему ходят артисты. А если играли в войну, то генералами были теперь, по очереди, Шурик и Сережа.

ПОХОРОНЫ ПРАБАБУШКИ

Прабабушка заболела, ее отвезли в больницу. Два дня все говорили, что надо бы съездить проведать, а на третий день, когда дома были только Сережа да тетя Паша, пришла бабушка Настя. Она была еще прямой и

суровой, чем всегда, а в руке держала свою черную сумку с застежкой «молнией». Поздоровавшись, бабушка Настя села и сказала:

— Мама-то моя. Померли.

Тетя Паша перекрестилась и ответила:

— Царствие небесное!

Бабушка Настя достала из сумки сливу и дала Сереже.

— Понесла передачку, а они говорят — два часа, как померла. Ешь, Сережа, они мытые. Хорошие сливы. Мама любили: положат в чай, распарят и кушают. Нате вам все. — И она стала выкладывать сливы на стол.

— Да зачем, себе оставьте, — сказала тетя Паша.

Бабушка Настя заплакала:

— Не надо мне. Для мамы покупала.

— Сколько им было? — спросила тетя Паша.

— Восемьдесят третий шел. Живут люди и дольше. До девяноста, смотришь, живут.

— Выпейте молочка, — сказала тетя Паша. — Холодненькое, с погреба. Кушать надо, что поделаешь.

— Налейте, — сказала бабушка Настя, сморкаясь, и стала пить молоко. Пила и говорила: — Так их перед собой и вижу, так они мне и представляются. И какие они умные были, и сколько прочитали книг, удивительно... Пустой мой дом теперь. Я квартирантов пущу.

— Ах-ах-ах! — вздыхала тетя Паша.

Сережа, набрав полные руки слив, вышел во двор, под горячее нежное солнце, и задумался. Если дом бабушки Насти теперь пустой, значит, умерла

прабабушка: они ведь вдвоем жили; она, значит, была бабушки Настиной мамой. И Сережа подумал, что когда он пойдет в гости к бабушке Насте, то уже никто там не будет придирааться и делать замечания.

Смерть он видел. Видел мышку, которую убил кот Зайка, а перед этим мышка бегала по полу и Зайка играл с нею, и вдруг он бросился и отскочил, и мышка перестала бегать, и Зайка съел ее, лениво встряхивая сытой мордой... Видел Сережа мертвого котенка, похожего на обрывок грязного меха; мертвых бабочек с разорванными, прозрачными, без пыльцы, крылышками; мертвых рыбешек, выброшенных на берег; мертвую курицу, которая лежала в кухне на лавке: шея у нее была длинная, как у гуся, и в шее черная дырка, а из дырки в подставленный таз капала кровь. Ни тетя Паша, ни мама не могли зарезать курицу, они поручали это Лукьянычу. Он запирался с курицей в сарае, курица кричала, а Сережа убегал, чтобы не слышать ее криков; и потом, проходя через кухню, с отвращением и невольным любопытством взглядывал искоса, как капает кровь из черной дырки в таз. Его учили, что теперь уже больше не надо жалеть курицу, тетя Паша ощипывала ее своими полными проворными руками и говорила успокоительно:

— Она уже ничего не чувствует.

Одного мертвого воробья Сережа потрогал. Воробей оказался таким холодным, что Сережа со страхом отдернул руку. Он был холодный как льдинка, бедный воробей, лежавший ножками вверх под кустом сирени, теплой от солнца.

Неподвижность и холод — это, очевидно, и называется смерть.

Лида сказала про воробья:

— Давай его хоронить!

Она принесла коробочку, выстлала ее внутри лоскутком материи, из другого лоскутка сложила подушечку и убрала кружевом: многое умела Лида, надо ей отдать справедливость. Сереже она велела выкопать ямку. Они

отнесли коробочку с воробьем к ямке, закрыли крышкой и засыпали землей. Лида руками выровняла маленький холмик и воткнула веточку.



— Вот как мы его похоронили! — похвалилась она. — Он и не мечтал!

Васька и Женька отказались участвовать в этой игре, сидели поодаль и, покуривая, наблюдали хмуро; но не насмехались.

Люди тоже иногда умирают. Их кладут в длинные ящики — гробы — и несут по улицам. Сережа это видел издали. Но мертвого человека он не видел.

...Тетя Паша наполнила глубокую тарелку вареным рисом, белым и рассыпчатым, а по краям тарелки разложила красные мармеладки. Посредине, поверх риса, она сделала из мармеладок не то цветок, не то звезду.

— Это звезда? — спросил Сережа.

— Это крест, — ответила тетя Паша. — Мы с тобой пойдем прабабушку хоронить.

Она вымыла Сереже лицо, руки и ноги, надела на него носки, туфли, матросский костюм и матросскую шапку с лентами — очень много вещей! Сама тоже хорошо оделась — в черный кружевной шарф. Тарелку с рисом

завязала в белую салфетку. Еще она несла букет и Сереже дала нести цветы, два георгина на толстых ветках.

Васькина мать шла с коромыслом по воду. Сережа сказал ей:

— Здравствуйте! Мы идем хоронить прабабушку!

Лида стояла у своих ворот с маленьким Виктором на руках. Сережа и ей крикнул: «Я иду хоронить прабабушку!» — и она проводила его взглядом, полным зависти. Он знал, что ей тоже хочется пойти; но она не решается, потому что он так парадно одет, а она в грязном платье и босиком. Он пожалел ее и, обернувшись, позвал:

— Пойдем с нами! Ничего!

Но она очень гордая, она не пошла и ничего не сказала, только смотрела ему вслед, пока он не свернул за угол.

Одну улицу прошли, другую. Было жарко. Сережа устал нести два тяжелых цветка и сказал тете Паше:

— Понеси лучше ты.

Она понесла. А он стал спотыкаться: идет и спотыкается на ровном месте.

— Ты что все спотыкаешься? — спросила тетя Паша.

— Потому что мне жарко, — ответил он. — Сними с меня это. Я хочу идти в одних штанах.

— Не выдумывай, — сказала тетя Паша. — Кто это тебя пустит на похороны в одних штанах. Вот сейчас дойдем до остановки и сядем в автобус.

Сережа обрадовался и бодрее пошел по бесконечной улице, вдоль бесконечных заборов, из-за которых свешивались деревья.

Навстречу, пыля, шли коровы. Тетя Паша сказала:

— Держись за меня.

— Я хочу пить, — сказал Сережа.

— Не выдумывай, — сказала тетя Паша. — Ничего ты не хочешь пить.

Это она ошиблась: ему в самом деле хотелось пить. Но когда она так сказала, ему стало хотеться меньше.

Коровы прошли, медленно качая серьезными мордами. У каждой вымя было полно молока.

На площади Сережа с тетей Пашей сели в автобус, на детские места. Сереже редко приходилось ездить в автобусе, он это развлечение ценил. Стоя на скамье коленями, он смотрел в окно и оглядывался на соседа. Сосед был толстый мальчишка, меньше Сережи, он сосал леденцового петуха на деревянной палочке. Щеки у соседа были замусолены леденцом. Он тоже смотрел на Сережу, взгляд его выражал вот что: «А у тебя леденцового петуха нет, ага!» Подошла кондукторша.

— За мальчика надо платить? — спросила тетя Паша.

— Примерься, мальчик, — сказала кондукторша.

Там у них нарисована черная черта, по которой меряют детей: кто дорос до черты, за тех надо платить. Сережа стал под чертой и немножко приподнялся на цыпочках.

Кондукторша сказала:

— Платите.

Сережа победно посмотрел на мальчишку: «А на меня зато билет берут, — сказал он ему мысленно, — а на тебя не берут, ага!» Но окончательная

победа осталась за мальчишкой, потому что он поехал дальше, когда Сереже и тете Паше уже пришлось выходить.

Они оказались перед белыми каменными воротами. За воротами длинные белые дома, обсаженные молодыми деревьями, стволы деревцов тоже побелены мелом. Люди в синих халатах гуляли и сидели на лавочках.

— Это мы где? — спросил Сережа.

— В больнице, — ответила тетя Паша.

Пришли к самому последнему дому, завернули за угол, и Сережа увидел Коростелева, маму, Лукьяныча и бабушку Настю. Все стояли у широкой открытой двери. Еще были три чужие старухи в платочках.

— Мы приехали на автобусе! — сказал Сережа.

Никто не ответил, а тетя Паша шикнула на него, и он понял, что разговаривать почему-то нельзя. Сами они разговаривали, но тихо. Мама сказала тете Паше:

— Зачем вы его привели, не понимаю!

Коростелев стоял, держа кепку в опущенной руке, лицо у него было кроткое и задумчивое. Сережа заглянул в дверь, — тут были ступеньки, спуск в подвал, из подвального сумрака дохнуло сырой прохладой... Все медленно двинулись и стали спускаться по ступенькам, и Сережа за ними.

После дневного света в подвале сначала показалось темно. Потом Сережа увидел широкую лавку вдоль стены, белый потолок и щербатый цементный пол — а посередине высоко деревянный гроб с оборочкой из марли. Было холодно, пахло землей и еще чем-то. Бабушка Настя большими шагами подошла к гробу и склонилась над ним.

— Что это, — тихо сказала тетя Паша. — Как руки положены. Господи ты боже мой. Навытяжку.

— Они неверующие были, — сказала бабушка Настя, выпрямившись.

— Мало ли чего, — сказала тетя Паша. — Она не солдат, чтобы так являться перед господом. — И обратилась к старухам: — Как же вы недоглядели!

Старухи завздохали... Сереже снизу ничего не было видно. Он влез на лавку и, вытянув шею, сверху посмотрел в гроб...

Он думал, что в гробу прабабушка. Но там лежало что-то непонятное. Оно напоминало прабабушку: такой же запавший рот и костлявый подбородок, торчащий вверх. Но оно было не прабабушка. Оно было неизвестно что. У человека не бывает так закрытых глаз. Даже когда человек спит, глаза у него закрыты иначе...

Оно было длинное-длинное... А прабабушка была коротенькая. Оно было плотно окружено холодом, мраком и тишиной, в которой боязливо шептались стоящие у гроба. Сереже стало страшно. Но если бы оно вдруг ожило, это было бы еще страшней. Если бы оно, например, сделало: хрр... При мысли об этом Сережа вскрикнул.

Он вскрикнул, и, словно услышав этот крик, сверху, с солнца, близко и весело отозвался живой резкий звук, звук автомобильной сирены... Мама схватила Сережу и вынесла из подвала. У двери стоял грузовик с откинутым бортом. Ходили дядьки и покуривали. В кабине сидела тетя Тося, шофер, что тогда привезла коростелевское имущество, она работает в «Ясном берегу» и иногда заезжает за Коростелевым. Мама усадила Сережу к ней, сказала: «Сиди-ка тут!» — и закрыла кабину. Тетя Тося спросила:

— Прабабушку проводить пришел? Ты ее, что же, любил?

— Нет, — откровенно ответил Сережа. — Не любил.

— Зачем же ты тогда пришел, — сказала тетя Тося, — если не любил, то на это смотреть не надо.

Свет и голоса отогнали ужас, но сразу отделаться от пережитого впечатления Сережа не мог, он беспокойно ерзал, озирался, думал и спросил:

— Что это значит — являться перед господом?

Тетя Тося усмехнулась:

— Это просто так говорится.

— Почему говорится?

— Старые люди говорят. Ты не слушай. Это глупости.

Посидели молча. Тетя Тося сказала загадочно, щуря зеленые глаза:

— Все там будем.

«Где там?» — подумал Сережа. Но уточнять это дело у него не было охоты; он не спросил. Увидев, что из подвала выносят гроб, он отвернулся. Было облегчение в том, что гроб закрыт крышкой. Но очень неприятно, что его поставили на грузовик.

На кладбище гроб сняли и унесли. Сережа с тетей Тосей не вылезли из кабины, сидели запершись. Кругом были кресты и деревянные вышки с красными звездами. По растрескавшемуся от сухости ближнему холму ползали рыжие муравьи. На других холмах рос бурьян... «Неужели про кладбище она говорила, — подумал Сережа, — что все будем там?..» Те, что уходили, вернулись без гроба. Грузовик поехал.

— Ее засыпали землей? — спросил Сережа.

— Засыпали, детка, засыпали, — сказала тетя Тося.

Когда приехали домой, оказалось, что тетя Паша осталась на кладбище со старухами.

— Надо же Пашеньке пристроить свою кутю, — сказал Лукьяныч. — Варила, трудилась...

Бабушка Настя сказала, снимая платок и поправляя волосы:

— Ругаться с ними, что ли? Пусть покадят, если им без этого нельзя.

Опять они говорили громко и даже улыбались.

— У нашей тети Паши миллион предрассудков, — сказала мама.

Они сели есть. Сережа не мог. Ему противна была еда. Тихий, всматривался он в лица взрослых. Он старался не вспоминать, но оно вспоминалось да вспоминалось — длинное, ужасное в холоде и запахе земли.

— Почему, — спросил он, — она сказала — все там будем?

Взрослые замолчали и повернулись к нему.

— Кто тебе сказал? — спросил Коростелев.

— Тетя Тося.

— Не слушай ты тетю Тосю, — сказал Коростелев. — Охота тебе всех слушать.

— Мы, что ли, все умрем?

Они смутились так, будто он спросил что-то неприличное. А он смотрел и ждал ответа.

Коростелев ответил:

— Нет. Мы не умрем. Тетя Тося как себе хочет, а мы не умрем, и в частности ты, я тебе гарантирую.

— Никогда не умру? — спросил Сережа.

— Никогда! — твердо и торжественно пообещал Коростелев.

И Сереже сразу стало легко и прекрасно. От счастья он покраснел — покраснел пунцово — и стал смеяться. Он вдруг ощутил нестерпимую жажду: ведь ему еще когда хотелось пить, а он забыл. И он выпил много воды, пил и стонал, наслаждаясь. Ни малейшего сомнения не было у него в том, что Коростелев сказал правду: как бы он жил, зная, что умрет? И мог ли не поверить тому, кто сказал: ты не умрешь!

МОГУЩЕСТВО КОРОСТЕЛЕВА

Разрыли землю, поставили столб, протянули провод. Провод сворачивает в Сережин двор и уходит в стену дома. В столовой на столике, рядом с семафором, стоит черный телефон. Это первый и единственный телефон на Дальней улице, и принадлежит он Коростелеву. Ради Коростелева рыли землю, ставили столб, натягивали провод. Другие потому что могут без телефона, а Коростелев не может.

Снимешь трубку и слушаешь — невидимая женщина говорит: «Станция». Коростелев приказывает командирским голосом: «Ясный берег!» Или: «Райком партии!» Или: «Область дайте, трест совхозов!» Сидит, качая длинной ногой, и разговаривает в трубку. И никто в это время не должен его отвлекать, даже мама.

А то зальется телефон дробным серебряным звоном. Сережа мчится, хватая трубку и кричит:

— Я слушаю!

Голос в трубке велит позвать Коростелева. Скольким людям требуется Коростелев! Лукьянычу и маме звонят редко. А Сереже и тете Паше никогда никто не звонит.

Рано утром Коростелев отправляется в «Ясный берег». Днем тетя Тося иногда заводит его домой пообедать. А чаще не заводит, мама звонит в «Ясный берег», а ей говорят, что Коростелев на ферме и будет не скоро.

«Ясный берег» ужасно большой. Сережа и не думал, что он такой большой, пока не поехал однажды с Коростелевым и тетей Тосей на «газике» по коростелевским делам. Уж они ездили, ездили! Громадные просторы бросались навстречу «газику» и распахивались по обе стороны — громадные просторы осенних лугов с высокими-высокими стогами, уходящими к краю земли в бледно-лиловую дымку желтого жнивья и черной бархатной пахоты, кое-где тонко разлинованной ярко-зелеными линиями всходов. Лились и скрещивались, как серые ленты, бесконечные дороги; по ним бежали грузовики, тракторы тащили прицепы с четырехугольными шапками сена. Сережа спрашивал:

— А теперь это что?

И все ему отвечали:

— «Ясный берег».

Затерянные в просторах, далеко друг от друга стоят три фермы: три нагромождения построек, при одной ферме толстенная силосная башня, при другой сарай с машинами. В мастерской шипит сверло и жужжит паяльная лампа. В черной глубине кузницы летят огненные искры, стучит молот... И отовсюду выходят люди, здороваются с Коростелевым, а он осматривает, спрашивает, дает распоряжения, потом садится в «газик» и едет дальше. Понятно, почему он вечно спешит в «Ясный берег»: как они будут знать, что им делать, если он не придет и не скажет?

На фермах очень много животных: свиней, овец, кур, гусей, — но больше всего коров. Пока было тепло, коровы жили на воле, на пастбище, до сих пор там навесы, под которыми они ночевали в плохую погоду. Сейчас коровы на скотных дворах. Стоят смирно рядышком, прикованные цепями за рога к деревянной балке, и едят из длинной кормушки, обмахиваясь хвостами. Ведут они себя не очень-то прилично: все время за ними убирают навоз. Сереже совестно было смотреть, как бесстыдно ведут себя коровы; за руку с Коростелевым он проходил по мокрым мосткам вдоль скотного двора, не поднимая глаз. Коростелев не обращал внимания на неприличие, хлопал коров по пестрым спинам и распоряжался.

Одна женщина с ним чего-то заспорила, он оборвал спор, сказав:

— Ну-ну. Делайте давайте.

И женщина умолкла и пошла делать, что он велел.

На другую женщину, в такой же синей шапке с помпоном, как у мамы, он кричал:

— Кто же за это отвечает в конце концов, неужели даже за такую ерунду я должен отвечать?!

Она стояла перед ним расстроенная и повторяла:

— Как я упустила из виду, как я не сообразила, сама не понимаю!

Откуда-то взялся Лукьяныч с бумажкой в руках; дал Коростелеву вечное перо и сказал: «Подпишите». Коростелев еще не докричал и ответил: «Ладно, потом». Лукьяныч сказал:

— Что значит потом, мне же не дадут без вашей подписи, а людям зарплату надо получать.

Вот как, если Коростелев не подпишет бумажку, то они и зарплату не получат!

А когда Сережа и Коростелев шли, пробираясь между навозными лужами, к ожидавшему их «газику», дорогу преградил молодой парень, одетый роскошно — в низеньких резиновых сапогах и в кожаной курточке с блестящими пуговицами.



— Дмитрий Корнеевич, — сказал он, — что ж мне теперь предпринимать, они площади не дают, Дмитрий Корнеевич!

— А ты считал, — спросил Коростелев отрывисто, — тебе там коттедж приготовлен?

— У меня крах личной жизни, — сказал парень, — Дмитрий Корнеевич, отмените приказ!

— Раньше думать надо было, — сказал Коростелев еще отрывистее. — Голова есть на плечах? Думал бы головой.

— Дмитрий Корнеевич, я вас прошу как человек человека, поняли вы? Не имею опыта, Дмитрий Корнеевич, не вник в эти взаимоотношения.

— А левачить — вник? — спросил Коростелев, потемнев лицом. — Бросать доверенный участок и дезертировать налево — есть опыт?..

Он хотел идти.

— Дмитрий Корнеевич! — не отцеплялся парень. — Дмитрий Корнеевич! Проявите чуткость! Дайте возможность загладить! Я признаю ошибку! Допустите стать на работу, Дмитрий Корнеевич!

— Но учти!.. — грозно обернулся Коростелев. — Если еще хоть один раз!..

— Да на что они мне сдались, Дмитрий Корнеевич! Они только койку обещают и то в перспективе... Я на них плевал, Дмитрий Корнеевич!

— Эгоист собачий, — сказал Коростелев, — индивидуалист, сукин сын! В последний раз — иди работай, черт с тобой!

— Есть идти работать! — проворно отозвался парень и пошел прочь, подмигивая девушке в платочке, которая стояла поодаль.

— Не для тебя отменяю, для Тани! Ей спасибо скажи, что тебя полюбила! — крикнул Коростелев и тоже подмигнул девушке, уходя. А девушка и парень смотрели на него, взявшись за руки и скаля белые зубы...

Вот какой Коростелев: захоти он — парню и Тане было бы плохо.

Но он этого не захотел, потому что он не только всемогущий, но и добрый. Он сделал так, что они рады и смеются.

Как Сереже не гордиться, что у него такой Коростелев?

Ясно, что Коростелев умнее всех и лучше всех, раз его поставили надо всеми.

ЯВЛЕНИЯ НА НЕБЕ И НА ЗЕМЛЕ

Летом звезд не увидишь. Когда бы Сережа ни проснулся, когда бы ни лег, — на дворе светло. Если даже тучи и дождь, все равно светло, потому что за тучами солнце. В чистом небе иногда можно заметить кроме солнца прозрачное бесцветное пятнышко, похожее на осколок стекла. Это месяц, дневной, ненужный, он висит и тает в солнечном сиянье, тает и исчезает — уже растаял, одно солнце царит на синей громаде неба.

Зимой дни короткие; темнеет рано; задолго до ужина Дальнюю улицу, с ее тихими снежными садами и белыми крышами, обступают звезды. Их тыща, а может и миллион. Есть крупные и есть мелкие. И мельчайший звездный песок, слитый в светящиеся молочные пятна. Большие звезды переливаются голубыми, белыми, золотыми огнями; у звезды Сириус лучи

как реснички; а посреди неба звезды мелкие и крупные, и звездный песок — все сбито вместе в морозно-сверкающий плотный туман, в причудливо-неровную полосу, переброшенную через улицу, как мост, — этот мост называется: Млечный Путь.

Прежде Сережа не обращал внимания на звезды, они его не интересовали. Потому что он не знал, что у них есть названия. Но мама показала ему Млечный Путь. И Сириус. И Большую Медведицу. И красный Марс. У каждой звезды есть название, сказала мама, даже у такой, которая не больше песчинки. Да они только издали кажутся песчинками, они большущие, сказала мама. На Марсе, очень может быть, живут люди.

Сережа хотел знать все названия; но мама не помнила; она знала, да забыла. Зато она показала ему горы на луне.

Чуть не каждый день идет снег. Люди расчистят дорожки, натопчут, наследят, — а он опять пойдет и все завалит высокими пуховыми подушками. Белые колпаки на столбиках заборов. Толстые белые гусеницы на ветвях. Круглые снежки в развилках ветвей.



Сережа играет на снегу, строит и воюет, катается на санках. Малиново гаснет день за дровяным складом. Вечер. Волоча санки за веревку, Сережа идет домой. Остановится, закинет голову и с удовольствием посмотрит на знакомые звезды. Большая Медведица вылезла чуть не на середину неба, нахально раскинув хвост. Марс подмигивает красным глазом.

«Если этот Марс такой здоровенный, что на нем, очень может быть, живут люди, — думается Сереже, — то очень может быть, там сейчас стоит такой же мальчик, с такими же санками, очень может быть — его тоже зовут Сережей...» Мысль поражает его, хочется с кем-нибудь ею поделиться, но не с каждым поделишься — не поймут, чего доброго; они часто не понимают; будут шутить, а шутки в таких случаях для Сережи тяжелы и оскорбительны. Он поделился с Коростелевым, улучив время, когда никого поблизости не было, — Коростелев не насмехается. И в этот раз не насмеялся, а, подумав, сказал:

— Ну что ж, возможно.

И потом почему-то взял Сережу за плечи и заглянул ему в глаза внимательно и немножко боязливо.

...Вернешься вечером, наигравшись и озябнув, домой, а там печки натоплены, пышут жаром. Греешься, хлюпая носом, пока тетя Паша раскладывает на лежанке твои штаны и валенки — сушить. Потом садишься со всеми в кухне у стола, пьешь горячее молоко, слушаешь ихние разговоры и думаешь о том, как пойдешь завтра с товарищами на осаду ледяной крепости, которую сегодня построили... Очень хорошая вещь зима.

Хорошая вещь зима, но чересчур долгая: надоедает тяжелая одежда и студёные ветры, хочется выбежать из дому в трусах и сандалиях, купаться в речке, валяться по траве, удить рыбу — не беда, что ни черта не поймает, зато весело в компании собираться, копать червей, сидеть с удочкой, кричать: «Шурик, у тебя, по-моему, клюет!»

Фу ты, опять метель, а вчера уже таяло! До чего надоела противная зима!

...По окнам бегут кривые слезы, на улице вместо снега густое черное месиво с протоптанными стежками: весна! Речка тронулась. Сережа с ребятами ходил смотреть, как идет лед. Сперва он шел большими грязными кусками. Потом пошла какая-то серая ледяная каша. Потом речка разлилась. На том берегу ивы затонули по пояс. Все было голубое, вода и небо; серые и белые облака плыли по небу и по воде.

...И когда же, и когда же — Сережа прозевал — поднялись за Дальней улицей такие высокие, такие непроходимые хлеба? Когда заколосилась рожь, когда зацвела, когда отцвела? Сережа не заметил, занятый своей жизнью, а она уже налилась, зреет, пышно шумит над головой, когда идешь по дороге. Птицы вывели птенцов, сенокосилки пошли на луга — скашивать цветы, от которых было так пестро на том берегу. У детей каникулы, лето в разгаре, про снег и звезды думать забыл Сережа...

Коростелев подзывает его и ставит между своими коленями.

— Давай-ка обсудим один вопрос, — говорит он. — Как ты считаешь, кого бы нам еще завести — мальчика или девочку!

— Мальчика! — сейчас же отвечает Сережа.

— Тут ведь вот какое дело: безусловно, два мальчика лучше, чем один; но с другой стороны, мальчик у нас уже есть, так, может быть, девочку теперь, а?

— Ну, как хочешь, — без особенной охоты соглашается Сережа. — Можно и девочку. С мальчиком мне лучше играть, знаешь.

— Ты ее будешь защищать и беречь, как старший брат. Будешь смотреть, чтобы мальчишки не дергали ее за косички.

— Девчонки тоже дергают, — замечает Сережа. — Еще как. — Он мог бы рассказать, как его самого Лида дернула недавно за волосы; но он не любит ябедничать. — Еще так дернет, что мальчишки орут.

— Так наша же будет крохотная, — говорит Коростелев. — Она не будет дергать.

— Нет, знаешь, давай все-таки мальчика, — говорит Сережа, поразмыслив. — Мальчик лучше.

— Думаешь?

— Мальчишки не дразнятся. А эти только и знают — дразниться.

— Да?.. Гм. Об этом стоит подумать. Мы еще с тобой посоветуемся, ладно?

— Ладно, посоветуемся.

Мама слушает, улыбаясь, она сидит тут же за шитьем. Она себе сшила широкий-преширокий капот — Сережа удивился, зачем такой широкий; впрочем, она сильно потолстела. А сейчас у нее в руках что-то маленькое, она это маленькое обшивает кружевом.

— Что ты шьешь? — спрашивает Сережа.

— Чепчик, — отвечает мама. — Для мальчика, или для девочки, кого вы там решите завести.

— У него, что ли, такая будет голова? — спрашивает Сережа, взыскательно разглядывая игрушечный предмет. (Ну, знаете! Если на такой голове хорошенько дернуть волосы, то можно и голову оторвать!)

— Сначала такая, — отвечает мама, — потом вырастет. Ты же видишь, как растет Виктор. А сам ты как растешь. И он будет так же расти.

Она надевает чепчик себе на руку и смотрит на него; лицо у нее довольное, ясное. Коростелев осторожно целует ее в лоб, в то место, где начинаются ее мягкие блестящие волосы.

Они затеяли это всерьез — с мальчиком или девочкой: купили кроватку и стеганое одеяло. А купаться мальчик или девочка будет в Сережиной ванне. Ванна Сереже тесна, он давно уже не может, сидя в ней, вытянуть ноги; но для человека с такой головой, которая влезает в такой чепчик, ванна будет в самый раз.

Откуда берутся дети, известно: их покупают в больнице. Больница торгует детьми, одна женщина купила сразу двух. Зачем-то она взяла совершенно одинаковых, — говорят, она их различает по родинке, у одного родинка на шее, у другого нет. Непонятно, зачем ей одинаковые. Купила бы лучше разных.

Но что-то Коростелев и мама оттягивают дело, начатое всерьез: кроватка стоит, а нет ни мальчика, ни девочки.

— Почему ты никого не покупаешь? — спрашивает Сережа у мамы.

Мама смеется — ой, до чего она стала толстая:

— Как раз сейчас нет в продаже. Обещали, что скоро будут.

Это бывает: нужно что-нибудь, а в продаже как раз и нет. Что ж, можно подождать, Сереже не так уж к спеху.

Медленно растут маленькие дети, что бы мама ни говорила. Именно на примере Виктора видать. Давненько Виктор живет на свете, а ему всего год и шесть месяцев. Когда еще он будет в состоянии играть с большими детьми. И новый мальчик, или девочка, сможет играть с Сережей в таком отдаленном будущем, о котором, собственно говоря, не стоит и загадывать. До тех пор придется его, или ее, беречь и защищать. Это благородное занятие, Сережа понимает, что благородное: но вовсе не привлекательное, как представляется Коростелеву. Трудно Лиде воспитывать Виктора: изволь таскать его, забавлять и наказывать. Недавно отец и мать ходили на свадьбу, а Лида сидела дома и плакала. Не будь Виктора, ее бы тоже взяли на свадьбу. А из-за него живи как в тюрьме, сказала она.

Но — уж ладно: Сережа согласен помочь Коростелеву и маме. Пусть себе спокойно уходят на работу, пусть тетя Паша варит и жарит, Сережа, так и быть, присмотрит за беспомощным созданием с кукольной головой, которому без присмотра просто пропадать. И кашей его покормит, и спать уложит. Они с Лидой будут друг к другу ходить и носить детей: вдвоем присматривать легче — пока те спят, можно и поиграть.

Однажды утром он встал — ему сообщили, что мама уехала в больницу за ребеночком.

Как ни был он подготовлен, сердце екнуло: все-таки большое событие.

Он ждал маму обратно с часу на час; стоял за калиткой, ожидая, что вот-вот она появится на углу с мальчиком или девочкой, и он помчится им навстречу... Тетя Паша позвала его:

— Коростелев тебя кличет к телефону.

Он побежал в дом, схватил черную трубку, лежавшую на столике.

— Я слушаю! — крикнул он.

Голос Коростелева, смеющийся и праздничный, сказал:

— Сережка! У тебя брат! Слышишь? Брат! Голубоглазый! Весит четыре кило, здорово, а? Ты доволен?

— Да!.. Да!.. — растерянно и с расстановкой прокричал Сережа. Трубка умолкла.

Тетя Паша сказала, вытирая глаза фартуком:

— Голубоглазый — в папу, значит. Ну, слава тебе, господи! В добрый час!

— Они скоро придут? — спросил Сережа. И удивился, и огорчился, узнав, что не скоро, дней через семь, а то и больше, — а почему, потому что ребеночек должен привыкнуть к маме, в больнице его к ней приучат.

Коростелев каждый день бывал в больнице. К маме его не пускали, но она ему писала записки. Наш мальчик очень красивый. И необыкновенно умный. Она окончательно выбрала ему имя — Алексей, а звать будем Леной. Ей там тоскливо и скучно, она рвется домой. И всех обнимает и целует, особенно Сережу.

...Семь дней, а то и больше, прошли. Коростелев сказал Сереже, уходя из дому:

— Жди меня, сегодня поедem за мамой и Леной.

Он вернулся на «газике» с тетей Тосей и с букетом цветов. Они поехали в ту самую больницу, где умерла прабабушка.

Подошли к первому от ворот дому, и вдруг их окликнула мама:

— Митя! Сережа!

Она смотрела из открытого окна и махала рукой. Сережа крикнул: «Мама!» Она еще раз махнула и отошла от окна. Коростелев сказал, что она сейчас выйдет. Но она вышла не скоро — уж они и по дорожке ходили, и заглядывали в визгливую, на пружине, дверь, и сидели на скамейке под прозрачным молодым деревцом почти без тени. Коростелев стал беспокоиться, он говорил, что цветы завянут, пока она придет. Тетя Тося, оставив машину за воротами, присоединилась к ним и уговаривала Коростелева, что это всегда так долго.

Наконец завизжала дверь, и появилась мама с голубым свертком в руках. Они кинулись к ней, она сказала:

— Осторожно, осторожно!

Коростелев отдал ей букет, а сам взял сверток, отвернул кружевной уголок и показал Сереже крошечное личико, темно-красное и важное, с закрытыми глазами: Леня, брат... Один глаз приоткрылся, что-то мутно-синее выглянуло в щелочку, личико скривилось, Коростелев сказал расслабленно: «Ах, ты-ы...» — и поцеловал его.

— Что ты, Митя! — сказала мама строго.

— Нельзя разве? — спросил Коростелев.

— Он любой инфекции подвержен, — сказала мама. — Тут к ним подходят в марлевых масках. Прошу тебя, Митя.

— Ну, не буду, не буду! — сказал Коростелев.



Дома Леню положили на мамину кровать, развернули, и Сережа увидел его целиком. С чего мама взяла, что он красивый? Живот у него был раздут, а ручки и ножки неимоверно, нечеловечески тоненькие и ничтожные и двигались без всякого смысла. Шей совсем не было. Ни по чему нельзя было отгадать, что он умный. Он разинул пустой, с голыми деснами, ротик и стал кричать странным жалостным криком, слабым и назойливым, однообразно и без устали.

— Маленький ты мой! — утешала его мама. — Ты кушать хочешь! Тебе время кушать! Кушать хочет мой мальчик! Ну, сейчас; ну, сейчас!

Она говорила громко, двигалась быстро и была совсем не толстая — похудела в больнице. Коростелев и тетя Паша старались ей помочь и со всех ног бросались выполнять ее распоряжения.

Пеленки у Лени были мокрые. Мама завернула его в сухие, села с ним на стул, расстегнула платье, вынула грудь и приложила к Лениному рту. Леня вскрикнул в последний раз, схватил грудь губами и стал сосать, давясь от жадности.

«Фу, какой!..» — подумал Сережа.

Коростелев угадал его мысли. Он сказал потихоньку:

— Ему девятый день, понимаешь? Девятый день, всех и делов; что с него спросишь, верно?

— Угу, — смущенно согласился Сережа.

— Впоследствии будет парень что надо. Увидишь.

Сережа подумал: когда это будет! И как за ним присматривать, когда он... как кисель, — даже мама за него берется с опаской.

Наевшись, Леня спал на маминой кровати. Взрослые в столовой разговаривали о нем.

— Няню надо, — сказала тетя Паша. — Не управлюсь я.

— Никого не нужно, — сказала мама. — Пока каникулы, я сама буду с ним, а потом устроим в ясли, там настоящие няни и настоящий уход.

«А, это хорошо, пусть в ясли», — подумал Сережа, чувствуя облегчение. Лида всегда мечтала, чтоб Виктора отдали в ясли... Сережа влез на кровать и уселся рядом с Леной, намереваясь рассмотреть его как следует, пока он не орет и не морщится. Оказалось, у Лени есть ресницы, только очень короткие. Кожа темно-красного личика была нежная, бархатистая; Сережа дотронулся до нее пальцем, чтобы испытать на ощупь...

— Что ты делаешь! — воскликнула мама, входя.

От неожиданности он вздрогнул и отдернул руку...

— Слезь сейчас же! Разве можно его трогать грязными руками!

— У меня чистые, — сказал Сережа, испуганно слезая с кровати.

— И вообще, Сереженька, — сказала мама, — давай подальше от него, пока он маленький. Ты можешь толкнуть нечаянно... Мало ли что. И, пожалуйста, не води сюда детей, а то еще заразят его какой-нибудь болезнью... Уйдем лучше! — ласково и повелительно закончила мама.

Сережа послушно вышел. Он был задумчив. Все это не так, как он ожидал... Мама завесила окошко шалью, чтобы свет не мешал Лене спать, вышла вслед за Сережей и тихо прикрыла дверь...

ВАСЬКА И ЕГО ДЯДЯ

У Васьки есть дядя. Лида, безусловно, сказала бы, что это вранье, никакого дяди нет, но ей приходится помалкивать: дядя есть; вот его карточка — на этажерке, между двумя вазами с маками из красных стружек. Дядя снят под пальмой; одет во все белое, и солнце светит таким слепым белым светом, что не рассмотреть ни лица, ни одежды. Хорошо вышла на карточке только пальма да две короткие черные тени, одна дядина, другая пальмина.

Лицо — неважно, но жалко, что не разобрать, во что одет дядя. Он не просто дядя, а капитан дальнего плавания. Интересно же — как одеваются капитаны дальнего плавания. Васька говорит, снимок сделан в городе Гонолулу на острове Оаху. Иногда от дяди приходят посылки. Васькина мать хвастает.

— Опять Костя прислал два отреза.

Она куски материи называет отрезами. Но бывают в посылках и драгоценные вещи. Например: бутылка со спиртом, а в ней крокодильчик, маленький, как рыбка, но настоящий; будет в спирту стоять хоть сто лет и не испортится. Понятно, что Васька задается: все, что есть у других ребят, — тьфу против крокодильчика.

Или пришла в посылке большая раковина: снаружи серая, а внутри розовая — розовые створки приоткрыты, как губы, — и если приложить ее к уху, то слышен тихий, как бы издалека, ровный гул. Когда Васька в хорошем настроении, он дает Сереже послушать. И Сережа стоит, прижав раковину к уху, с неподвижно раскрытыми глазами, и, притаив дыхание, слушает тихий незамирающий гул, идущий из глубины раковины. Что за гул? Откуда он там берется? Почему от него беспокойство — и хочется слушать да слушать?..

И этот дядя, необыкновенный, исключительный, — этот дядя после Гонолулу и всяких островов надумал приехать к Ваське погостить! Васька сообщил об этом, выйдя на улицу; сообщил небрежно, держа папиросу в углу рта и щуря от дыма глаз, сообщил так, будто в этом не было ничего выдающегося. А когда Шурик, после молчания, спросил басом:

— Какой дядя? Капитан? — Васька ответил:

— А какой же еще? У меня другого и нету.

Он сказал «у меня» с особенным выражением, чтоб было ясно: у вас могут быть другие дяди, не капитаны; у меня их быть не может. И все признали, что это на самом деле так.

— А он скоро приедет? — спросил Сережа.

— Через недельку, две, — ответил Васька. — Ну, я пошел мел покупать.

— Зачем тебе мел? — спросил Сережа.

— Мать потолки белить собралась.

Конечно, для такого дяди как не побелить потолки!

— Врет он, — сказала Лида, не выдержав. — Никто к ним не едет.

Сказала и поспешно отступила, боясь получить затрещину. Но Васька на этот раз не дал ей затрещины. Даже не сказал «дура», — просто удалился, помахивая плетеной сумкой, в которой лежал мешочек для мела.

А Лида осталась на месте, как оплеванная.

...Побелили потолки и наклеили новые обои. Васька мазал куски обоев клеем и подавал матери, а она наклеивала. Ребята заглядывали из сеней, — в комнаты Васька не велел входить.

— Вы мне все тут перепутаете, — сказал он.

Потом Васькина мама вымыла пол и постлала половики. Они с Васькой ходили по половикам, на пол не ступали.

— Моряки обожают чистоту, — сказала Васькина мать.

Будильник перенесли в заднюю комнату, где будет спать дядя.

— Моряки все по часам делают, — сказала Васькина мать.

Дядю ждали с нетерпением. Если на Дальнюю сворачивала машина, все замирали, — не дядя ли едет со станции. Но машина проезжала, а дяди не было, и Лида радовалась. У нее бывали свои какие-то радости, не такие, как у других.

По вечерам, придя с работы и управившись по хозяйству, Васькина мать выходила за калитку похвалить соседкам своего брата, капитана. А ребята, держась в сторонке, слушали.

— Сейчас он на курорте, — рассказывала Васькина мать. — Поправляет свое здоровье. Сердце неважное. Путевку ему дали, конечно, в самый лучший санаторий. А после лечения заедет к нам.

— Как он пел когда-то! — говорила она дальше. — Как он исполнял в клубе «Куда, куда вы удалились...» — лучше Козловского! Теперь, конечно, располнел, и одышка, и в семье бог знает что делается, не очень-то запоешь.

Она понижала голос и рассказывала что-то по секрету от ребят.

— И все девочки, — говорила она. — Одна блондинка, другая брюнетка, третья рыженькая. На Костю только старшая похожа. А он плавает и переживает. Везет ей на девочек. Девочек хоть десятеро будь, их легче воспитать, чем одного мальчишку.

Соседки оглядывались на Ваську.

— Пусть, как брат, посоветует что-нибудь, — продолжала Васькина мать. — Вынесет свою мужскую резолюцию. Я уже ненормальная стала.

— С мальчишками намучаешься, — вздыхала Женькина тетка, — пока поставишь на ноги.

— Смотря какие мальчишки, — возражала тетя Паша. — Наш, например, страшно нежный.

— Это пока он маленький, — отвечала Васькина мать. — Маленькие они все нежные. А подрастет — и тоже начнет себя выявлять.

Дядя-капитан приехал ночью — утром ребята заглянули в Васькин сад, а там дядя стоит на дорожке, весь в снежно-белом, как на карточке, белый китель, белые брюки со складкой, белые туфли, на кителе золото; стоит, заложив руки за спину, и говорит мягким, немножко в нос, чуть-чуть задыхающимся голосом:

— До чего же пре-лестно. Какая благодать. После тропиков отдыхаешь душой. Как ты счастлива, Поля, что живешь в таком дивном месте.

Васькина мать говорит:

— Да, у нас ничего.

— Ах, скворечник! — томно вскрикнул дядя. — Скворечник на березе! Поля, ты помнишь нашу хрестоматию, там точно такая была картинка — береза со скворечником!

— Скворечник Вася повесил, — сказала Васькина мать.

— Пре-лестный мальчик! — сказал дядя.

Васька был тут же, умытый и скромный, без кепки, причесанный, как на Первое мая.

— Идем завтракать, — сказала Васькина мать.

— Я хочу дышать этим воздухом! — возразил дядя. Но Васькина мать увела его. Он взошел на крыльцо, большой, как белая башня с золотом, и

скрылся в доме. Он был толстый и прекрасный, с добрым лицом, с двойным подбородком. Лицо было загорелое, а лоб белый; ровной чертой белизна отделялась от загара... А Васька подошел к забору, между палками которого смотрели, прижавшись, Сережа и Шурик.

— Ну, — спросил он милостиво, — чего вам, малыши?

Но они только сопели.

— Он мне часы привез, — сказал Васька. Да, на левой руке у него были часы, настоящие часы с ремешком! Подняв руку, он послушал, как они тикают, и покрутил винтик...

— А нам можно к тебе? — спросил Сережа.

— Ну, зайдите, — разрешил Васька. — Только чтоб тихо. А когда он ляжет отдыхать и когда родственники придут, то геть без разговоров. У нас будет семейный совет.

— Какой семейный совет? — спросил Сережа.

— Будут совещаться, чего со мной делать, — объяснил Васька.

Он ушел в дом, и ребята вошли туда, безмолвные, и стали у порога.

Дядя-капитан намазал маслом ломтик хлеба, вставил в рюмку вареное яйцо, разбил его ложечкой, осторожно снял верхушку скорлупы и посолил. Соль он взял из солонки на самый кончик ножа. Чего-то ему не хватало, он озирался, его светлые брови изобразили страданье. Наконец он спросил своим нежным голосом, деликатно:

— Поля, извини, нельзя ли салфетку?

Васькина мать заметалась и дала ему чистое полотенце. Он поблагодарил, положил полотенце на колени и стал есть. Он откусывал маленькие кусочки хлеба, и почти совсем не было заметно, как он жует и глотает. А Васька насупился, на его лице выразились разные чувства: ему

было неприятно, что у них в доме не нашлось салфетки; и в то же время он гордился своим воспитанным дядей, который без салфетки не может позавтракать.

Много разной еды наставила Васькина мать на стол. И дядя всего взял понемножку, но со стороны казалось, будто он не ест ничего, и Васькина мать стонала:

— Ты не кушаешь! Тебе не нравится!

— Все так вкусно, — сказал дядя, — но у меня режим, не сердись, Поля.

От водки он отказался, говоря:

— Нельзя. Раз в день рюмочку коньяку, — он грациозно показал двумя пальцами, какую маленькую рюмочку, — перед обедом, способствует расширению сосудов, это все, что я могу.

После завтрака он предложил Ваське погулять и надел фуражку, тоже белую с золотом.

— Вы — по домам, — сказал Васька Сереже и Шурику.

— Ах, возьми их! — сказал дядя в нос. — Прелестные малыши! Очаровательные братья!

— Мы не братья, — басом сказал Шурик.

— Они не братья, — подтвердил Васька.

— Неужели? — удивился дядя. — А я думал — братья. Чем-то похожи: один беленький, другой черненький... Ну, не братья — все равно, пошли гулять!

Лида видела, как они вышли на улицу. Она было побежала, чтобы догнать их. Но Васька взглянул на нее через плечо, она повернулась и побежала, припрыгивая, в другую сторону.

Гуляли в роще — дядя восхищался деревьями. Гуляли по полям — он восхищался колосьями. По правде сказать, надоели его восторги: рассказал бы, как там на море и островах. Но, несмотря на это, он был хорош — больно было смотреть, как сверкают на солнце его нашивки. Он шел с Васькой, а Сережа и Шурик то держались позади, то забегали вперед, чтобы полюбоваться на дядю с лица. Вышли к речке. Дядя посмотрел на часы и сказал, что хорошо бы выкупаться. Васька тоже посмотрел на свои часы и сказал, что выкупаться можно. И они стали раздеваться на нагретом чистом песке.

Сережа с Шуриком огорчились, что у дяди под кителем не полосатая тельняшка, а обыкновенная белая сорочка. Но вот, вскинув руки, он через голову стащил сорочку, и они окаменели.

Все дядино тело, от шеи до трусиков, все это обширное, ровно загорелое, в жирных складках тело было покрыто густыми голубыми узорами. Дядя поднялся во весь рост, и ребята увидели, что это не узоры, а картины и надписи. На груди была изображена русалка, у нее был рыбий хвост и длинные волосы; с левого плеча к ней сползал осьминог с извивающимися щупальцами и страшными человеческими глазами; русалка протягивала руки в его сторону, отвернув лицо, умоляя не хватать ее, — наглядная и жуткая картина! На правом плече была длинная надпись, во много строчек, и на правой руке тоже, — можно сказать, что справа дядя был исписан сплошь. На левой руке выше локтя два голубя целовались клювами, над ними были венки и корона, ниже локтя — репа, проткнутая стрелой, и внизу написано большими буквами: «Муся».

— Здорово! — сказал Шурик Сереже.

— Здорово! — вздохнул Сережа.

Дядя вошел в речку, окунулся, вынырнул с мокрыми волосами и счастливым лицом, фыркнул и поплыл против течения. Ребята — за ним, очарованные.

Как плавал дядя! Играючи двигался он в воде, играючи держала она его огромное тело. Доплыв до моста, он повернулся, лег на спину и поплыл вниз, еле заметно правя кончиками ног. И под водой как живая шевелилась на его груди русалка.

Потом дядя лежал на берегу, животом на песке, закрыв глаза и блаженно улыбаясь, а они разглядывали его спину, где были череп и кости, как на трансформаторной будке, и месяц, и звезды, и женщина в длинном платье, с завязанными глазами, сидящая, раздвинув колени, на облаках. Шурик набрался храбрости и спросил:

— Дядя, это у вас на спине чего?

Дядя засмеялся, поднялся и стал счищать с себя песок.

— Это мне на память, — сказал он, — о моей юности и некультурности. Видите, мои дорогие, когда-то я был до такой степени некультурным, что покрыл себя глупыми рисунками, и это, к сожалению, навеки.

— А чего на вас написано? — спросил Шурик.

— Разве важно, — сказал дядя, — какая ерунда на мне написана. Важны чувства человека и его поступки, ты как, Вася, считаешь?

— Правильно! — сказал Васька.

— А море? — спросил Сережа. — Какое оно?

— Море, — повторил дядя. — Море? Как тебе сказать. Море есть море. Прекрасней моря нет ничего. Это надо увидеть своими глазами.

— А когда шторм, — спросил Шурик, — страшно?

— Шторм — это прекрасно, — ответил дядя. — На море все прекрасно. — Задумчиво качая головой, он прочитал стих:

Не все ли равно, — сказал он, — где?

Еще спокойней — лежать в воде.

И стал надевать брюки.

После гулянья он отдыхал, а ребята собрались в Васькином переулке и обсуждали дядину татуировку.

— Это порохом делается, — сказал один мальчик с улицы Калинина. — Наносится рисунок, потом натирают порохом. Я читал.

— А где ты порох возьмешь? — спросил другой мальчик.

— Где: в магазине.

— Продадут тебе в магазине. Папиросы до шестнадцати лет не продают, не то что порох.

— Можно у охотников достать.

— Дадут они тебе порох.

— А вот дадут.

— А вот не дадут.

Но третий мальчик сказал:

— Порохом в старину делали. Сейчас делают тушью или же чернилами.

— А нарвет, если чернилами? — спросил кто-то.

— Нарвет, еще как.

— Лучше тушью. От туши здоровей нарвет.

— От чернил тоже нарывает здорово.

Сережа слушал и представлял себе город Гонолулу на острове Оаху, где растут пальмы и до слепоты бело светит солнце. И под пальмами стоят и снимаются белоснежные капитаны в золотых нашивках. «И я так снимусь», — думал Сережа. Подобно всем этим мальчикам, рассуждавшим о порохе и чернилах, он веровал без колебаний, что ему предстоит все на свете, что только бывает вообще, — в том числе

предстояло капитанство и Гонолулу. Он веровал в это так же, как в то, что никогда не умрет. Все будет перепробовано, все изведено в жизни, не имеющей конца.

К вечеру он соскучился по Васькиному дяде: тот отдыхал да отдыхал — он накануне в дороге не спал ночь. Васькина мать пробежала по улице на высоких каблуках и на бегу рассказала тете Паше, что идет за коньяком. Костя, кроме коньяка, ничего не пьет. Солнце спустилось. Пришли родственники. Зажгли электричество в доме. И ничего не было видно с улицы через занавески и герани. Сережа обрадовался, когда Шурик позвал его к себе на липу, сказав, что оттуда все видать.

— Он когда проснулся, то зарядку делал, — рассказывал Шурик, деловито семена рядом с Сережей. — А когда побрился, то деколоном на себя брызгал через трубку. Они уже поужинали... Идем через проулок, а то Лидка увяжется.

Старая липа росла у Тимохиных в огороде, на задах, близко к плетню, отделяющему огород от Васькиного сада. Сразу за плетнем — стена Васькиного дома, но на плетень не влезешь, он гнилой, трещит и рассыпается... В липе дупло, одно лето в нем жили удода, теперь Шурик хранил там вещи, которые лучше держать подальше от взрослых, — патронные гильзы и увеличительное стекло, при помощи этого стекла можно выжигать слова на заборах и скамейках.

Обдирая ноги о грубую, в трещинах, кору, ребята влезли на липу и устроились на суковатой корявой ветви — Шурик ухватясь за ствол, а Сережа за Шурика.

Они очутились в шелково-шуршащем, ласково-щекотном, свежем и горьковато дышащем лиственном шатре. Высоко над их головами шатер был золотисто озарен закатом, а чем ниже, тем гуще темнели сумерки. Веточка с черными листьями покачивалась перед Сережей, она не заслоняла внутренности Васькиного дома. Там горело электричество и сидел среди родственников дядя-капитан. И было слышно, что говорят.

Васькина мать говорила, размахивая руками:

— И выписывают квитанцию, что с гражданки Чумаченко Пе Пе взыскан штраф за хулиганство на улице в сумме двадцать пять рублей.

Одна родственница засмеялась.

— По-моему, нисколько не смешно, — сказала Васькина мать. — И обратно через два месяца вызывают в милицию и предъявляют протокол, и обратно отмечают в документе, что я уплатила пятьдесят рублей за разбитые витрины в кино.

— Ты расскажи, — сказала другая родственница, — как он с большими ребятами бился. Ты расскажи, как он папирсой ватное одеяло прожег, что чуть дом не сгорел.

— А деньги на папиросы у него откуда? — спросил дядя-капитан.

Васька сидел, опершись локтем о колено, щеку положив на ладонь, — скромный, причесанный волосок к волоску.

— Негодяй, — сказал дядя своим мягким голосом, — я тебя спрашиваю, — где деньги берешь?

— Мать дает, — ответил Васька, насупясь.

— Извини, Поля, — сказал дядя, — я не понимаю.

Васькина мать зарыдала.

— Покажи-ка свой дневник, — велел дядя Ваське.

Васька встал и принес дневник. Дядя, сощурился, полистал и сказал нежно:

— Мерзавец. Скотина.

Швырнул дневник на стол, вынул платок и стал обмахиваться.

— Да, — сказал он. — Печально. Если хочешь ему пользы, обя-за-на держать его в ежовых рукавицах. Вот моя Нина... Пре-лестно воспитала девочек! Дисциплинированные, на рояле учатся... Почему? Потому что она их держит в ежовых рукавицах.

— С девочками легче! — хором сказали родственники. — Девочки не то, что мальчики!

— Учти, Костя, — сказала та родственница, что наябедничала про одеяло, — когда она ему денег не дает, он берет у ней из сумочки без спроса.

Васькина мать зарыдала пуще.

— У кого же мне братъ, — спросил Васька, — у чужих, да?

— Вон отсюда! — в нос крикнул дядя и встал...

— Драть будет, — шепнул Шурик Сереже... Раздался треск, ветка, на которой они сидели, с стремительным шуршаньем ринулась вниз; с нею ринулся Сережа, увлекая Шурика.

— Не вздумай мне реветь, — сказал Шурик, лежа на земле.

Они поднялись, растирая ушибленные места. Через плетень глянул Васька, все понял и сказал:

— Вот я вам дам шпиёнить!

За Васькой в оконном свете выросла белая фигура, поблескивающая золотом, и томно сказала:

— Дай сюда папиросы, болван.

Сережа и Шурик, хромая, уходили по огороду и, оглядываясь, видели, как Васька подал дяде пачку папирос и дядя ее тут же изорвал, изломал, искрошил, потом взял Ваську сзади за воротник и повел в дом...

Наутро на доме висел замок. Лида сказала, что все чуть свет уехали к родственникам в колхоз Чкалова. Целый день их не было.

А еще на другое утро Васькина мать, всхлипывая, опять навесила замок и в слезах пошла на работу: Васька в эту ночь уехал с дядей — насовсем; дядя забрал

его с собой, чтобы перевоспитать и отдать в нахимовское училище. Вот какое счастье привалило Ваське за то, что он брал у матери деньги из сумочки и разбил витрину в кино.

— Это родственники постарались, — говорила Васькина мать тете Паше. — В таком виде обрисовали его Косте, что получился готовый уголовник. А разве он плохой мальчик, он — помните — целый метр дров наколот и сложил. И обои со мной клеил. И как он теперь без меня...

Она принималась рыдать.

— Им безразлично, поскольку не их ребенок, — рыдала она, — а у него что ни осень, то чирии на шее, кому это там интересно...

Она не могла видеть ни одного мальчишки в кепке козырьком назад — начинала плакать. А Сережу и Шурика как-то позвала к себе, рассказывала им про Ваську, как он был маленьким, и показала фотографии, которые подарил ей ее брат, капитан. Там были виды приморских городов, банановые рощи, древние постройки, моряки на палубе, люди на слоне, катер, разрезающий волны, черная танцовщица с браслетами на ногах, черные губастые ребята с курчавыми волосами, — все незнакомое, обо всем надо спрашивать, как называется, — и почти на всех снимках было море, простор без края, сливающийся с небом, живая, в жилках, вода, блистающий туман пены, — и незнакомый этот мир пел глубинно и заманчиво, как розовая раковина, если к ней приложишь ухо...

А в Васькином саду было теперь пусто и молчаливо. Стал этот сад вроде общественного: входи и играй хоть целый день — никто не окрихнет, не прогонит... Ушел хозяин сада в поющий розовый мир, куда и Сережа уйдет когда-нибудь.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЗНАКОМСТВА С ВАСЬКИНЫМ ДЯДЕЙ

Тайные отношения завязались между улицей Калинина и Дальней. Ведутся переговоры. Шурик ходит туда и сюда, хлопчет и приносит Сереже известия. Озабоченный, торопливо перебирает он смуглыми налитыми ножками, и его черные глаза стреляют во все стороны. Такое у них свойство: как придет Шурику в голову новая мысль, так они начинают стрелять направо и налево, и каждому видать, что Шурику пришла в голову новая мысль. Мать беспокоится, а отец, шофер Тимохин,

заранее грозит Шурику ремнем. Потому что мысли у Шурика всегда озорные. Вот родители и тревожатся, им ведь хочется, чтобы ихний сын был жив и здоров.

Плевал Шурик на ремень. Что ремень, когда ребята улицы Калинина собрались делать себе татуировку. Они готовятся к этому организованно, коллективом. Черти: выпросили у Шурика и Сережи все до тютельки, где какая татуировка на Васькином дяде; по указаниям Шурика и Сережи сделали рисунки, а теперь отказываются принимать Шурика и Сережу в компанию, говорят: «Куда таких». Дьяволы. Где же правда на свете?

И никому не пожалуешься — поклялись, что не скажут ни одному человеку во всем мире, то есть на улице Дальней. На Дальней живет знаменитая ябеда — Лида; она из чистого вредительства — выгоды ей ни на копейку — растреплет взрослым, те поднимут шум, вмешается школа, пойдут проработки на педсовете и родительских собраниях, и вместо делового мероприятия получится тоскливая канитель.

Из-за этого улица Калинина скрывает от Дальней свои замыслы. Но от Шурика не больно-то скроешь. К тому же он видел рисунки. Роскошные рисунки на чертежной и пергаментной бумаге.

— Они и от себя навывдумывали, — сообщил Шурик Сереже. — Самолет нарисовали, кита с фонтаном, лозунги... Накладывается на тебя лист, и по рисунку колют булавкой. Должно выйти здорово.

Сереже стало не по себе. Булавкой!..

Но что может Шурик, то может и Сережа.

— Да! — сказал он с притворным хладнокровием. — Должно получиться здорово.

Калининские ребята не соглашались сделать Шурику и Сереже не только кита, но даже маленького лозунга. Напрасно Шурик стучался во все калитки, убеждал и канючил.

Они отвечали:

— Да ну вас. Ты шутишь, что ли. Катись.

Гнать стали. Совсем плохо обстояло дело, пока Шурик не склонил на свою сторону Арсентия.

От Арсентия все родители без ума. Он отличник, книжник, чистюля и пользуется громадным авторитетом. Главное, у него есть совесть, — после разных шуточек он сказал:

— Надо отметить их заслуги, я считаю. Сделаем им по одной букве. Первую букву имени. Ты согласен? — спросил он Шурика.

— Нет, — ответил Шурик. — Мы не согласны на одну букву.

— Тогда пошел вон, — сказал силач Валерий из пятого класса. — Ничего вам не будет.

Шурик ушел, но выбора не было, — пришел опять и сказал, что ладно, пускай уж одну букву: ему «шы», а Сереже «сы». Только чтоб как следует делали, без халтуры.

Завтра все должно было совершиться — у Валерия, его мать уехала в командировку.

В назначенный час Шурик и Сережа пришли к Валерию. На крыльце сидела Лариска, Валериева сестра, и вышивала крестиками по канве. Она была тут посажена с той целью, что если кто зайдет посторонний, то говорить, что никого дома нет. Ребята собирались во дворе возле бани: все мальчики, из пятого и даже шестого класса, и одна девочка, толстая и бледная, с очень серьезным лицом и отвисшей, толстой и бледной нижней губой; казалось, именно эта отвисшая губа придает лицу такое серьезное, внушительное выражение, а если бы девочка ее подобрала, то стала бы совсем несерьезной и невнушительной... Девочка — ее звали Капой — резала ножницами бинты и раскладывала на табуретке. Капа у себя в школе была членом санитарной комиссии. Табуретку она застлала чистой тряпочкой.

В закопченной тесной бане, с мутным окошком под потолком, сразу за порогом стоял низкий деревянный чурбан, а на лавке лежали рисунки,

свернутые трубками. Ребята, приходя, рассматривали рисунки, обсуждали, весело, удовлетворенно ругались, и каждый выбирал, что ему нравилось. Споров не было, потому что один и тот же рисунок можно сделать на скольких угодно ребятах. Шурик и Сережа любовались рисунками издали, не решаясь хозяйничать на лавке: очень уж ребята были солидные, самостоятельные и блестящие.

Арсентий пришел прямо с занятий, с портфелем, после шестого урока. Он попросил уступить ему первую очередь: много задано, сказал он, — домашнее сочинение и большой кусок по географии. Из почтения к его прилежанию его пустили первым. Он аккуратно поставил портфель на лавку, скинул, улыбаясь, рубашку и, голый до пояса, сел на чурбан, спиной ко входу.

Его обступили большие ребята. Сережу с Шуриком оттерли из бани во двор, как они ни подскакивали, им ничего не было видно. Разговоры стихли, слышался треск и шорох бумаги и немного погодя голос Валерия:

— Капка! Сбегай к Лариске, пусть даст полотенце.

Серьезная Капа, на бегу трясая отвисшей губой, побежала, принесла полотенце и через головы перебросила Валерию.

— Зачем полотенце? — спрашивал Сережа, подскакивая. — Шурик! Зачем полотенце?

— Кровь, наверно, текет! — азартно сказал Шурик, стараясь протиснуть голову между ребятами, чтобы взглянуть, что делается.

Высокий мальчишка обернул к ним суровое лицо и сказал тихо, грозно:

— А ну, не баловаться тут!

Бесконечно длилась тишина. Бесконечно томила неизвестность. Сережа успел устать, соскучиться, половить стрекоз и осмотреть Валериев двор и Лариску... Наконец заговорили, задвигались, расступились, и вышел Арсентий — о! — неузнаваемый, ужасный, фиолетовый от шеи до пояса, —

где его белая грудь, где его белая спина, — и на полотенце вокруг пояса были кровавые и чернильные пятна! А лицо бледное-пребледное, но он улыбался, герой Арсентий! Твердо подошел к Капе, снял полотенце и сказал:

— Бинтуй потуже.

— Малышей бы пропустить, — сказал кто-то, — чтоб не создавали паники. Пропустим малышей.

— Вы где, малыши? — спросил Валерий, выходя из бани с фиолетовыми руками. — Не передумали?.. Ну, давайте, живо.

Как скажешь: «передумал». Как хватит духу сказать, когда вот он стоит, в крови и в чернилах, Арсентий, и смотрит на тебя с улыбкой?..

«Одна буква — недолго!» — подумал Сережа.

Вслед за Шуриком он вошел в опустевшую баню. Большие ребята смотрели, как Капа бинтует Арсентия. Валерий сел на чурбан и спросил:

— Кому какую букву?

— Мне «шы», — сказал Шурик. — А полотенце не надо?

— Не запачкаешься и так, — сказал Валерий. — На руке буду делать.

Он взял Шурикову руку и ткнул булавкой пониже локтя. Шурик подпрыгнул и вскрикнул:

— Ой!..

— Ой, так иди домой, — сказал Валерий и ткнул еще раз. — Ты воображай, — посоветовал он, — что я тебе вынимаю занозу. Вот и не будет больно.

Шурик скрепился и не пикнул больше, только перепрыгивал с ноги на ногу и дул на руку, на которой алыми точками одна за другой выступали

капли крови. Валерий булавкой вспорол кожу между точками — Шурик подскочил, ударил себя пятками, задул изо всех сил, кровь потекла струйкой...



«Буква „шы“ длинная, — думал бледный Сережа, большими глазами неподвижно глядя на кровь, — целых три палочки и четвертая внизу, несчастный Шурик, „сы“ короче, молодец Шурик, не кричит, я тоже не буду кричать, ой-ой-ой, убежать нельзя, будут насмехаться, Шурик скажет, что я трус...»

Валерий взял с лавки пузырек чернил и кисточкой помазал Шурика прямо по крови.

— Готов! — сказал он. — Следующий! — Сережа шагнул и протянул руку...

...Это было в конце лета, только что начались занятия в школе, дни стояли теплые, сонно-золотистые, — а сейчас осень, хмурое небо в окнах, тетя Паша заклеила оконные рамы полосками белой бумаги, между рамами положила вату и поставила стаканчики с солью...

Сережа лежит в постели. К ней придвинуты два стула: на одном кучей навалены игрушки, на другом Сережа играет. Плохо играть на стуле. Даже танку не развернуться, а если, например, нужно оттеснить неприятеля, то вовсе некуда: дойдешь до спинки, и все, это разве сражение.

Болезнь началась, когда Сережа вышел из Валериевой бани, неся правой рукой левую руку, вспухшую, пылающую, в чернилах. Он вышел из бани — от света черные круги помчались перед глазами, вдохнул запах чьей-то папиросы, — его стошнило... Лег на траву, руку под бинтом терзало и пекло. Шурик и еще один мальчик отвели его домой. Тетя Паша ничего не заметила, потому что на нем была рубашка с длинными рукавами. Он прошел в дом молча и лег на кровать.

Но вскоре началась рвота и жар, тетя Паша всполошилась и позвонила маме в школу по телефону, прибежала мама, пришел доктор, Сережу раздели, сняли бинт, ахали, спрашивали, а он не отвечал — ему снились сны, отвратительные, тошнотворные: кто-то могучий, в красной майке, с голыми лиловыми руками — от них мерзко пахло чернилами, — деревянный чурбан, мясник на нем рубит мясо, — окровавленные ругающиеся мальчишки... Он рассказывал, что видит, не сознавая, что рассказывает. Так что взрослым все стало известно. Долго не могли понять, почему он бредит бубликом, половинкой бублика; когда рука зажила и отмылась, они догадались, — на ней навеки запечатлелась сизо-голубая половинка бублика, буква «сы».

Они были с Сережей нежны и ласковы — и мучили его не хуже Валерия. Особенно доктор: бесчеловечно вливал он Сереже пенициллин, и Сережа, не плакавший от боли, рыдал от унижения, от бессилия перед унижением, от того, что оскорблялась его стыдливость... Доктору было мало, он присылал вредную тетку в белом халате, медсестру, которая специальной машинкой резала Сереже пальцы и выдавливала из них кровь. После пыток доктор шутил и гладил Сережу по голове, это было уже издевательство.

...Устав играть на стуле, Сережа ложится и размышляет о своем тяжелом положении. Пытается найти первопричину своего несчастья.

«Я бы не заболел, — думает он, — если бы я не сделал татуировку. А я бы не сделал татуировку, если бы не познакомился с Васькиным дядей. А я бы с ним не познакомился, если бы он не приехал к Ваське. Да, не захоти он приехать, ничего бы не случилось, я был бы здоров».

Неприязни к Васькиному дяде он не чувствует. Просто, видимо, на свете одно цепляется за другое, не предугадаешь, когда и где грозит беда.

Его стараются развлечь. Мама подарила ему аквариум с красными рыбками. В аквариуме растут водоросли. Кормить рыб нужно порошком из коробки.

— Он так любит животных, — сказала мама, — это его займет.

Правильно, он любит животных. Любил кота Зайку, любил свою ручную галку, Галю-Галю. Но рыбы не животные.

Зайка пушистый и теплый, с ним можно было играть, пока он был не такой старый и угрюмый. Галя-Галя была веселая и смешная, летала по комнатам, воровала ложки и отзывалась на Сережин зов. А от рыб какая радость, плавают в банке и ничего не могут делать, только шевелить хвостами... Не понимает мама.

Сереже нужны ребята, хорошая игра, хороший разговор. Больше всех ребят он хочет Шурика. Еще когда рамы были не заклеены и окна открыты, Шурик пробрался к нему под окно и позвал:

— Сергей! Как ты там?

— Иди сюда! — крикнул Сережа, вскочив на колени. — Иди ко мне!

— Меня к тебе не пускают, — сказал Шурик (его макушка виднелась над подоконником). — Выздоровливай и выходи сам.

— Что ты делаешь? — спросил Сережа в волнении.

— Папа мне портфель купил, — сказал Шурик, — в школу буду ходить. Уже метрику сдали. А Арсентий тоже болеет. А другие никто не болеют. И я не болею. А Валерия в другую школу перевели, ему теперь далеко ходить.

Сколько новостей сразу!

— Пока! Выходи скорей! — уже издали донесся голос Шурика — должно быть, тетя Паша появилась во дворе...

Ах, и Сереже бы туда! За Шуриком! На улицу! Как прекрасно жилось ему до болезни! Что он имел и что потерял!..

НЕДОСТУПНОЕ ПОНИМАНИЮ

Наконец позволили Сереже встать с постели, а потом и гулять. Но запретили отходить от дома и заходить к соседям; боятся, как бы опять чего-нибудь с ним не случилось.

Да и выпускают Сережу только до обеда, когда его товарищи в школе. Даже Шурик в школе, хотя ему еще нет семи: родители отдали его туда из-за истории с татуировкой, чтоб больше был под присмотром и занимался делом... А с маленькими Сереже неинтересно.

Однажды вышел он во двор и увидел, что на сложенных у сарая бревнах сидит какой-то чужой дядька в плешивой ушанке. Лицо у дядьки было как щетка, одежда рваная. Он сидел и курил очень маленькую закрутку, такую маленькую, что она вся была зажата между двумя его желто-черными пальцами; дым шел уже прямо от пальцев, удивительно, как дядька не обжигался... Другая рука была перевязана грязной тряпкой. Вместо шнурков на ботинках были веревки. Сережа рассмотрел все и спросил:

— Вы к Коростелеву пришли?

— К какому Коростелеву? — спросил дядька. — Не знаю я Коростелева.

— Вы, значит, к Лукьянычу?

— И Лукьяныча не знаю.

— А их никого дома нет, — сказал Сережа. — Только тетя Паша дома да я. А вам не больно?

— Почему больно?

— Вы пальцы себе жжете.

— А!

Дядька потянул закрутку последний раз, бросил крохотный окурок наземь и затоптал.

— А другую руку вы уже пожгли? — спросил Сережа.

Не отвечая, дядька смотрел на него суровым озабоченным взглядом. «Чего он смотрит?» — подумал Сережа. Дядька спросил:

— А живете вы как? Хорошо?

— Спасибо, — сказал Сережа. — Хорошо.

— Добра много?

— Какого добра?

— Ну, чего у вас есть?

— У меня велосипед есть, — сказал Сережа. — И игрушки есть. Всякие: и заводные, и нет. А у Лени мало, одни погремушки.

— А отрезы есть? — спросил дядька. И подумав, должно быть, что Сереже это слово непонятно, пояснил: — Материал — представляешь себе? На костюм, на пальто.

— У нас нету отрезов, — сказал Сережа. — У Васькиной мамы есть.

— А где она живет? Васькина мама.

Неизвестно, как бы дальше повернулся разговор, но тут щелкнула щеколда и во двор вошел Лукьяныч. Он спросил:

— Кто такой? Вам что?

Дядька поднялся с бревен и стал смиренным и жалким.

— Заработка ищу, хозяин, — ответил он.

— Почему по дворам ищете? — спросил Лукьяныч. — Где ваше место?

— В данный момент нет у меня места, — сказал дядька.

— А где было?

— Было — сплыло. Давно было.

— Из тюрьмы, что ли?

— Месяц, как освобожденный.

— За что сидел?

Дядька потоптался и ответил:

— Якобы за неаккуратное обращение с личной собственностью. Засудили-то зря. Судебная ошибка произошла.

— А почему домой не поехал, а болтаешься?

— Я поехал, — сказал дядька, — а жена не приняла. Нашла себе другого: работника прилавка! Да и не прописывают там... Теперь к маме пробираюсь в Читю. В Чите у меня мама.

Сережа слушал, приоткрыв рот. Дядька сидел в тюрьме!.. В тюрьме с железными решетками и бородатыми стражниками, вооруженными до зубов секирами и мечами, как описано в книжках, — а в какой-то Чите ждет его мама и, верно, плачет, бедная... Она будет рада, когда он к ней проберется. Сошьет ему костюм и пальто. И купит шнурки для ботинок...

— В Читю — ближний свет... — сказал Лукьяныч. — И как же? Удастся заработать или опять-таки, это самое, по части личной собственности?..

Дядька насупился и сказал:

— Разрешите дрова попилить.

— Пили, ладно, — сказал Лукьяныч и принес из сарая пилу.

Тетя Паша вышла на голоса и слушала разговор с крылечка. Почему-то она заманила кур в сарай, хотя им рано было спать, и заперла на замок. А ключ положила к себе в карман. И сказала Сереже потихоньку:

— Сережа, ты, пока гуляешь, присматривай, чтобы дяденька с пилой не ушел.

Сережа ходил вокруг дядьки и смотрел на него с любопытством, сомнением, сожалением и некоторым страхом. Заговаривать с ним он больше не решался, из уважения к его выдающейся и таинственной судьбе. И дядька молчал. Он пилил усердно и только иногда присаживался, чтобы сделать закрутку и покурить.

Сережу позвали обедать. Коростелева и мамы дома не было, обедали втроем. После щей Лукьяныч сказал тете Паше:

— Отдай этому ворюге мои старые валенки.

— Ты бы еще сам их поносил, — сказала тетя Паша. — На нем штиблеты ничего себе.

— Куда в Читу в таких штиблетах, — сказал Лукьяныч.

— Я его покормлю, — сказала тетя Паша. — У меня вчерашнего супу много.

После обеда Лукьяныч прилег отдохнуть, а тетя Паша сняла со стола скатерть и убрала в шкафчик.

— Зачем ты сняла скатерть? — спросил Сережа.

— Хорош будет и без скатерти, — ответила тетя Паша. — Он как чума грязный.

Она разогрела суп, нарезала хлеба и грустным голосом позвала дядьку:

— Зайдите, покушайте.

Дядька пришел и долго вытирал ноги о тряпку. Потом помыл руки, а тетя Паша сливала ему из ковша. На полочке лежали два куска мыла: одно розовое, другое простое, серое; дядька взял серое — или он не знал, что умываться надо розовым, или розового ему не полагалось, как скатерти и сегодняшних щей. И вообще он стеснялся и ступал по кухне неуверенно, осторожно, точно боялся проломить пол. Тетя Паша зорко за ним следила. Сядясь за стол, дядька перекрестился. Сережа видел, что тете Паше это понравилось. Она налила полную, до края, тарелку и сказала ласково:

— Кушайте на здоровье.

Дядька съел суп и три большущих куска хлеба молча и сразу, сильно двигая челюстями и шумно потягивая носом. Тетя Паша дала ему еще супу и маленький стаканчик водки.

— Теперь и выпить можно, — сказала она, — а на пустой желудок нехорошо.

Дядька поднял стаканчик и сказал:

— За ваше здоровье, тетя. Дай вам бог.

Закинул голову, открыл рот и мигом вылил туда все, что было в стаканчике.

Сережа посмотрел — стаканчик стоит на столе пустой.

«Здорово!» — подумал Сережа.

Дальше дядька ел уже не так быстро и разговаривал. Он рассказал, как приехал к жене, а она его не пустила.

— И не дала ничего, — сказал он. — У нас добра порядочно было: машина швейная, патефон, посуда там... Ничего не дала. Иди, говорит, уголовник, откуда пришел, ты мне жизнь испортил. Я говорю — хоть патефон отдай, совместно нажит, учтите. Так ей жалко. Из моего костюма себе костюм пошила. А пальто мое продала через комиссионный магазин.

— А прежде ничего жили? — спросила тетя Паша.

— Жили — лучше не надо, — ответил дядька. — Любила как сумасшедшая. А теперь там работник прилавка. Видел я его: смотреть не на что. Никакого вида. На что польстилась? На то, что работник прилавка, ясно.

Рассказал и про свою маму, какая у нее пенсия и как она ему прислала посылку. Тетя Паша совсем добрая стала: дала дядьке и вареного мяса, и чаю, и курить позволила.

— Конечно, — говорил дядька, — приди я к маме с патефоном хотя бы — было б лучше.

«Конечно, лучше, — подумал Сережа. — Они бы пластинки ставили».

— Может, устройтесь на работу, так и ничего будет, — сказала тетя Паша.

— Не очень нас любят брать на работу, — сказал дядька, и тетя Паша вздохнула и покачала головой, как бы сочувствуя дядьке и тем, кто не любит брать его на работу.

— Да, — сказал дядька, помолчав, — мог бы и я быть не то что работником прилавка — кем угодно мог быть; да так как-то время зря провел.

— А зачем же вы его зря проводили, — сказала тетя Паша снисходительно. — А вы бы проводили не зря, лучше б было.

— Сейчас что говорить, — сказал дядька, — после всех происшествий. Сейчас говорить вроде ни к чему. Ну, спасибо вам, тетя. Пойду допилю.

Он ушел во двор. Сережу тетя Паша больше не пустила гулять, потому что стал накрапывать дождик.

— Почему он такой? — спросил Сережа. — Дядька этот.

— В тюрьме сидел, — ответила тетя Паша. — Ты же слышал.

— А почему сидел в тюрьме?

— Жил плохо, потому и сидел. Хорошо бы жил — не посадили бы.

Лукьяныч отдохнул после обеда и отправлялся обратно в контору. Сережа спросил у него:

— Если плохо живешь, то сажают в тюрьму?

— Видишь ли, — сказал Лукьяныч, — он чужие вещи крал. Я, например, работал, заработал, а он пришел и украл: хорошо разве?

— Нет.

— Ясно — нехорошо.

— Он плохой?

— Конечно, плохой.

— А зачем ты ему велел отдать валенки?

— Жалко мне его стало.

— Которые плохие — тебе жалко?

— Видишь ли, — сказал Лукьяныч, — я его не потому пожалел, что он плохой, а потому, что он почти босой. Ну, и вообще... неприятно, когда кто-то живет плохо... Ну, а вообще... я бы с большим удовольствием, безусловно, отдал бы ему валенки, если бы он был хороший... Я пошел! — сказал Лукьяныч и убежал, заторопившись.

«Чудак, — подумал Сережа, — ничего не поймешь, что он говорит...»



Он смотрел в окно на реденький серый дождик и старался распутать путанные Лукьянычевы слова... Дядька в плешивой ушанке прошел мимо по улице, неся под мышкой валенки, вложенные один в другой, так что подошвы их торчали в разные стороны. Мама пришла и принесла из яслей Леню, завернутого в красное одеяльце...

— Мама! — сказал Сережа. — Ты рассказывала, помнишь, один тетрадку украл. Его посадили в тюрьму?

— Что ты! — сказала мама. — Конечно, не посадили.

— Почему?

— Он маленький. Ему восемь лет.

— Маленьким можно?

— Что можно?

— Красть.

— Нет, и маленьким нельзя, — сказала мама, — но я с ним поговорила, и он больше никогда не украдет. А почему ты об этом спрашиваешь?

Сережа рассказал ей про дядьку из тюрьмы.

— К сожалению, — сказала мама, — такие люди иногда бывают. Мы об этом поговорим, когда ты вырастешь. Попроси, пожалуйста, у тети Паши гриб для штопки и принеси мне.

Сереза принес гриб и спросил:

— А зачем он крал?

— Не хотел работать, вот и крал.

— А он знал, что его посадят в тюрьму?

— Конечно, знал.

— Он, что ли, не боялся? Мама! Она, что ли, не страшная — тюрьма?

— Ну, хватит! — рассердилась мама. — Я ведь сказала, что тебе рано об этом думать! Думай о чем-нибудь другом! Я этих слов даже не хочу слышать!

Сереза посмотрел на ее нахмуренные брови и перестал спрашивать. Он пошел в кухню, набрал ковшом воды из ведра, налил в стакан и попробовал выпить сразу, одним глотком; но как ни запрокидывал голову и ни разевал рот, — не получалось, только облился весь. Даже сзади за воротник залилось и текло по спине.

Сереза скрыл, что у него мокрая рубашка, а то бы они подняли свой шум и стали его переодевать и ругать. А к тому часу, как спать ложиться, рубашка высохла.

...Взрослые думали, что он уже спит, и громко разговаривали в столовой.

— Он ведь чего хочет, — сказал Коростелев, — ему нужно либо «да», либо «нет». А если посередке — он не понимает.

— Я сбежал, — сказал Лукьяныч. — Не сумел ответить.

— У каждого возраста свои трудности, — сказала мама, — и не на каждый вопрос надо отвечать ребенку. Зачем обсуждать с ним то, что недоступно его пониманию? Что это даст? Только замутит его сознание и вызовет мысли, к которым он совершенно не подготовлен. Ему достаточно знать, что этот человек совершил проступок и наказан. Очень вас прошу — не разговаривайте вы с ним на эти темы!

— Разве это мы разговариваем? — оправдывался Лукьяныч. — Это он разговаривает!

— Коростелев! — позвал Сережа из темной комнаты.

Они замолчали сразу...

— Да? — спросил, войдя, Коростелев.

— Кто такое — работник прилавка?

— Ты-ы! — сказал Коростелев. — Ты чего не спишь? Спи сейчас же! — Но Сережины блестящие глаза были выжидательно и открыто обращены к нему из полумрака; и наскоро, шепотом (чтобы мама не услышала и не рассердилась) Коростелев ответил на вопрос...

НЕПРИКАЯННОСТЬ

Опять привязались болезни. Без всякой на этот раз причины была ангина. Потом доктор сказал: «желёзки». И придумал новые мученья — рыбий жир и компрессы. И велел измерять температуру.

Мажут тряпку вонючей черной мазью и накладывают тебе на шею. Сверху кладут жесткую колкую бумагу. Сверху вату. Еще сверху наматывают бинт до самых ушей. Так что голова как у гвоздя, вбитого в доску: не повернешь. И так живи.

Спасибо еще, что лежать не заставляют. А когда у Сережи нет температуры, а на улице нет дождя, то можно и гулять. Но такие совпадения бывают редко. Почти всегда есть или дождь, или температура.

Включено радио; но далеко не все, что оно говорит и играет, интересно Сереже.

А взрослые очень ленивые: как попросишь их почитать или рассказать сказку, так они отговариваются, что заняты. Тетя Паша стряпает; руки у нее, правда, заняты, но рот-то свободен: могла бы рассказать сказку. Или мама: когда она в школе, или пеленает Леню, или проверяет тетрадки, это одно; но когда она стоит перед зеркалом и укладывает косы то так, то так, и при этом улыбается, — чем же она занята?

— Почитай мне, — просит Сережа.

— Погоди, Сереженька, — отвечает она. — Я занята.

— А зачем ты их опять распустила? — спрашивает Сережа про косы.

— Хочу причесаться иначе.

— Зачем?

— Мне надо.

— Почему тебе надо?

— Так...

— А почему ты смеешься?

— Так...

— Почему так?

— Ох, Сереженька. Ты мне действуешь на нервы.

Сережа думает: как это я ей действую на нервы? И, подумав, говорит:

— Ты мне все-таки почитай.

— Вечером приду, — говорит мама, — тогда почитаю.



А вечером, придя, она будет кормить и купать Леню, разговаривать с Коростелевым и проверять тетрадки. А от чтения опять увильнет.

Но вот тетя Паша уже все сделала и села отдохнуть на оттоманке у себя в комнате. Руки сложила на коленях, сидит тихо, дома никого нет, — тут-то Сережа и припирает ее к стенке.

— Теперь ты мне расскажешь сказку, — говорит он, выключив радио и усаживаясь рядом.

— Господи ты боже мой, — говорит она устало, — сказку тебе. Ты же их все наизусть знаешь.

— Ну так что ж. А ты расскажи.

Страшно ленивая.

— Ну, жили-были царь и царица, — начинает она, вздохнув. — И была у них дочка. И вот в один прекрасный день...

— Она была красивая? — требовательно прерывает Сережа.

Ему известно, что дочка была красивая; и всем известно; но зачем же тетя Паша пропускает? В сказках ничего нельзя пропускать.

— Красивая, красивая. Уж такая красивая... В один, значит, прекрасный день надумала царевна выйти замуж. Приехали женихи свататься...

Сказка течет по законному руслу. Сережа внимательно слушает, глядя в сумерки большими строгими глазами. Он заранее знает, какое слово сейчас будет произнесено; но от этого сказка не становится хуже. Наоборот. Какой смысл он вкладывает в понятия: женихи, свататься, — он не мог бы толково объяснить; но ему все понятно — по-своему. Например: «конь стал как вкопанный», а потом поскакал, — ну, значит, его откопали.

Сумерки густеют. Окна становятся голубыми, а рамы на них черными. Ничего не слышно в мире, кроме тети Пашиного голоса, рассказывающего о злоключениях царевниных женихов. Тишина в маленьком доме на Дальней улице.

Сереже скучно в тишине. Сказка кончается скоро; вторую тетя Паша ни за что не соглашается рассказать, несмотря на его мольбы и возмущение. Кряхтя и зевая, уходит она в кухню; и он один. Что делать? Игрушки за время болезни надоели. Рисовать надоело. На велосипеде по комнатам не поездишь — тесно.

Скука сковывает Сережу хуже болезни, делает вялыми его движения, сбивает мысли. Все скучно.

Пришел Лукьяныч с покупкой: серая коробка, обвязанная веревочкой. Сережа было загорелся и ждет нетерпеливо, чтобы Лукьяныч развязал веревочку. Чикнуть бы ее, и готово. Но Лукьяныч долго пыхтит и распутывает тугие узелки, — веревочка пригодится, он ее хочет сохранить в целости.

Сережа смотрит во все глаза, поднявшись на цыпочки... Но из серой коробки, где могло бы поместиться что-нибудь замечательное, появляется пара огромных черных суконных бот с резиновым ободком.

У Сережи у самого есть боты, с такими же застежками, только без сукна, просто из резины. Он их ненавидит, смотреть еще на эти боты ему нет ни малейшего интереса.



— Это что? — упав духом, уныло-пренебрежительно спрашивает он.

— Боты, — отвечает Лукьяныч и садится примерить. — Называются — «прощай, молодость».

— А почему?

— Потому что молодые таких не носят.

— А ты старый?

— Поскольку надел такие боты, значит, старый.

Лукьяныч топает ногой и говорит:

— Благодать!

И идет показывать боты тете Паше.

Сереза влезает на стул в столовой и зажигает электричество. Рыбы плавают в аквариуме, тараща глупые глаза. Серезина тень падет на них — они всплывают и разевают рты, ожидая корма.

«А вот интересно, — думает Сереза, — будут они пить свой собственный жир или не будут?»

Он вынимает пробку из пузырька и наливает немножко рыбьего жира в аквариум. Рыбы висят хвостами вниз с разинутыми ртами и не глотают. Сережа подливает еще. Рыбы разбегаются...

«Не пьют», — равнодушно думает Сережа.

Скука, скука! Она толкает его на дикие и бессмысленные поступки. Он берет нож и соскабливает краску с дверей в тех местах, где она вздулась пузырями. Не то чтобы это доставляло ему удовольствие, — но все-таки занятие. Берет клубок шерсти, из которой тетя Паша вяжет себе кофту, и разматывает его до самого конца — для того, чтобы потом смотать снова (что ему не удается). При этом он каждый раз сознает, что совершает преступление, что тетя Паша будет ругаться, а он будет плакать, — и она ругается, и он плачет, но в глубине души у него удовлетворение: поругались, поплакали — глядишь, и провели время не без событий.

Веселее становится, когда приходит мама и приносит Леню. Начинается оживление: Леня кричит, мама кормит его и сменяет ему пеленки, Леню купают. Он теперь больше похож на человека, чем когда родился, только жирный чересчур. Он может держать в кулаке погремушку, но больше с него пока нечего взять. Живет он там в яслях целый день своей какой-то жизнью, отдельно от Сережи.

Коростелев приходит поздно, и его рвут на части. Начнется у них с Сережей разговор или согласится Коростелев почитать ему книжку, а телефон звонит, и мама перебивает каждую минуту. Вечно ей надо что-то говорить, не может подождать, пока люди кончат свое дело. Перед тем как уснуть на ночь, Леня долго кричит. Мама зовет Коростелева, вот обязательно ей нужен Коростелев, — тот носит Леню по комнате и шикает. А Сереже хочется спать, и общение с Коростелевым прекращается на неопределенное время.

Но бывают прекрасные вечера — редко, — когда Леня угомоняется пораньше, а мама садится исправлять тетрадки, — тогда Коростелев укладывает Сережу спать и рассказывает ему сказку. Сначала рассказывал плохо, почти совсем не умел; но Сережа ему помогал и учил его, и теперь Коростелев рассказывает довольно бойко:

— Жили-были царь и царица. Была у них красивая дочка, царевна...

А Сережа слушает и поправляет, пока не уснет.

В эти неприкаянные, тягучие дни, когда он ослабел и искапризничался, еще милее стало ему свежее, здоровое лицо Коростелева, сильные руки Коростелева, его мужественный голос... Сережа засыпает, довольный, что не все Лене да маме, — вот и ему что-то перепало от Коростелева...

ХОЛМОГОРЫ

Холмогоры. Это слово Сережа все чаще слышит в разговорах Коростелева с мамой:

— Ты написала в Холмогоры?

— Может, в Холмогорах не так буду загружен, тогда и сдам политэкономияю..

— Я получила ответ из Холмогор. Предлагают в женскую школу.

— Из отдела кадров звонили. Насчет Холмогор решено окончательно.

— Куда его тащить в Холмогоры. Его уже жучок съел. (Про комод.)

Все Холмогоры да Холмогоры.

Холмогоры. Это что-то высокое. Холмы и горы, как на картинках. Люди лазают с горы на гору. Женская школа стоит на горе. Ребята катаются с гор на санках.

Красным карандашом Сережа рисует все это на бумаге и тихонько поет на мотив, который для этого случая пришел ему в голову:

— Холмогоры, Холмогоры.

Очевидно, мы туда едем, раз уж о комодѣ зашла речь.

Великолепно. Лучше ничего и придумать нельзя. Женька уехал, Васька уехал, и мы уедем. Это очень повышает нашу ценность, что мы тоже куда-то едем, а не сидим на одном месте.

— Холмогоры — далеко? — спрашивает Сережа у тети Паши.

— Далечно, — отвечает тетя Паша и вздыхает. — Очень далеко.

— Мы туда поедем?

— Ох, не знаю я, Сереженька, ваших дел...

— Туда на поезде?

— На поезде.

— Мы едем в Холмогоры? — спрашивает Сережа у Коростелева и мамы. Они бы должны сообщить ему сами, но забыли это сделать.

Они переглядываются и потом смотрят в сторону, и Сережа безуспешно пытается заглянуть им в глаза.

— Мы едем? Мы ведь правда едем? — добивается он в недоумении: почему они не отвечают?

Мама говорит осторожным голосом:

— Папу переводят туда на работу.

— И мы с ним?

Он задает точный вопрос и ждет точного ответа. Но мама, как всегда, сначала говорит кучу посторонних слов:

— Как же его отпустить одного. Ведь ему плохо будет одному: придет домой, а дома никого нет... неприбрано, покормить некому... поговорить не с кем... Станет бедному папе грустно-грустно...

И только потом ответ:

— Я поеду с ним.

— А я?

Почему Коростелев смотрит на потолок? Почему мама опять замолчала и ласкает Сережу?

— А я!! — в страхе повторяет Сережа, топая ногой.

— Во-первых — не топай, — говорит мама и перестает его ласкать. — Это что еще такое — топать?! Чтоб я этого больше не видела! А во-вторых — давай обсудим: как же ты сейчас поедешь? Ты только что после болезни. Ты еще не поправился. Чуть что — у тебя температура. Мы еще неизвестно как устроимся. И климат тебе не подходит. Ты там будешь болеть и болеть и никогда не поправишься. И с кем я тебя буду больного оставлять? Доктор сказал, тебя пока нельзя везти.

Гораздо раньше, чем она кончила говорить, он уже рыдал, обливаясь слезами. Его не берут! Уедут сами, без него! Рыдая, еле слышал, что она еще там говорит:

— Тетя Паша и Лукьяныч останутся с тобой. Ты будешь жить с ними, как всегда жил.

Но он не хочет жить как всегда! Он хочет с Коростелевым и мамой!

— Я хочу в Холмогоры! — кричал он.

— Ну мальчик мой, ну перестань! — сказала мама. — Что тебе Холмогоры? Ничего там нет особенного...

— Неправда!

— Зачем ты так говоришь маме. Мама всегда говорит правду... и ведь ты же не навеки остаешься, дурачок мой маленький, ну довольно же...

Поживешь здесь зиму, поправишься, а весной или, может быть, летом папа за тобой приедет или я приеду, — и заберем тебя, — как только поправишься, сразу заберем, — и все опять будем вместе. Подумай, разве мы можем надолго тебя бросить?

Да, а если он до лета не поправится? Да, а легкое ли дело — прожить зиму? Зима — это так длинно, так бесконечно... И как же перенести, что они уедут, а он нет? Будут жить без него, далеко, и им все равно, все равно! И поедут на поезде, и он бы поехал на поезде, — а его не берут! Все вместе было — ужасная обида и страданье. Но он умел высказать свое страданье только самыми простыми словами:

— Я хочу в Холмогоры! Я хочу в Холмогоры!

— Дай, пожалуйста, воды, Митя, — сказала мама. — Выпей водички, Сереженька. Как можно так распускаться. Сколько бы ты ни кричал, это не имеет никакого смысла. Раз доктор сказал — нельзя, значит — нельзя. Ну успокойся, ну ты же умный мальчик, ну успокойся... Сереженька, я ведь сколько раз уезжала от тебя, когда училась, ты уже забыл? Уезжала и приезжала опять, правда же? И ты прекрасно жил без меня. И никогда не плакал, когда я уезжала. Потому что тебе и без меня было хорошо. Вспомни-ка. Почему же ты теперь устроил такую истерику? Разве ты не можешь, для своей же пользы, немного побыть без нас?

Как ей объяснить? Тогда было другое. Он был маленький и глупый. Она уезжала — он от нее отвыкал, привыкал заново, когда она возвращалась. И она уезжала одна; а теперь она увозит от него Коростелева... Новая мысль — новое страданье: «Леню она наверно возьмет». Проверяя, он спросил, давясь, распухшими губами:

— А Леня?..

— Но он же крошечный! — с упреком сказала мама и покраснела. — Он без меня не может, понимаешь? Он без меня погибнет! И он здоровенький, у него не бывает температуры и не опухают желёзки.

Сережа опустил голову и снова заплакал, но уже тихо и безнадежно.

Он бы кое-как смирился, если бы Леня оставался тоже. Но они бросают только его одного! Только он один им не нужен!

«На произвол судьбы», — подумал он горькими словами из сказки про Мальчика с пальчика.

И к обиде на мать — к обиде, которая оставит в нем вечный рубец, сколько бы он ни прожил на свете, — присоединялось чувство собственной вины: он виноват, виноват! Конечно, он хуже Лени, у него желёзки опухают, вот Лени и берут, а его не берут!

— А-ах! — вздохнул Коростелев и вышел из комнаты... Но сейчас же вернулся и сказал: — Сережка. Пошли-ка погулять. В рощу.

— В такую сырость! Он опять сляжет! — сказала мама.

Коростелев отмахнулся:

— Он и так все лежит. Пошли, Сергей.

Сережа, всхлипывая, пошел за ним. Коростелев сам его одел, только шарф завязать попросил маму. И, взявшись за руки, они пошли в рощу.

— Есть такое слово: надо, — говорил Коростелев. — Думаешь, мне хочется в Холмогоры? Или маме? Наоборот. Полный кавардак в наших планах, во всем. А надо — и едем. И таких моментов лично у меня было сколько угодно.

— Почему? — спросил Сережа.

— Такова, брат, жизнь.

Коростелев говорил серьезно и грустно, и становилось капельку легче от того, что ему тоже невесело.

— Приедем туда с мамой. Так... Надо с ходу браться за новое дело. А тут Леня. Его, значит, срочным порядком в ясли. А вдруг ясли далеко? Придется

нянюку искать. Тоже штука сложная. А за мной зачеты, надо сдать хоть тресни. Куда ни кинь, всюду надо и надо. А тебе одно только надо: временно переждать здесь. Зачем заставляешь тебя переносить с нами трудности? Пуще расхвораешься...

Не надо заставлять. Он согласен, он готов, он жаждет переносить с ними трудности. Что им, то пусть и ему. При всей убедительности этого голоса Сережа не мог избавиться от мысли, что они оставляют его не потому, что он там расхворается, а потому, что он, нездоровый, будет им обузой. А сердце его понимало уже, что ничто любимое не может быть обузой. И сомнение в их любви все острее проникало в это сердце, созревшее для понимания.



Пришли в рощу. Там было пусто и печально. Листья уже совсем осыпались, на голых деревьях темнели гнезда, похожие снизу на плохо смотанные клубки черной шерсти. Чмокая ботами по мокрому слою бурой листвы, Сережа ходил под деревьями за руку с Коростелевым и думал. Вдруг он сказал без выражения:

— Все равно.

— Что все равно? — спросил Коростелев, наклонясь к нему.

Сережа не ответил.

— Ведь только, брат, до лета! — растерянно сказал Коростелев после молчания.

Сереза хотел бы ответить так: думай — не думай, плачь — не плачь, — это не имеет никакого смысла: вы, взрослые, все можете, вы запрещаете, вы разрешаете, дарите подарки и наказываете, и если вы сказали, что я должен остаться, вы меня все равно оставите, что бы я ни делал.

Так он ответил бы, если бы умел. Чувство беспомощности перед огромной, безграничной властью взрослых навалилось на него...

С этого дня он стал очень тихим. Почти не спрашивал «почему?». Часто уединялся, садился с ногами на тети Пашину оттоманку и шептал что-то. Гулять его по-прежнему выпускали редко: тянулась осень — сырая, гнилая; и с осенью тянулась болезнь.

Коростелев почти не бывал с ними. С утра он уходил сдавать дела (так он говорил теперь: «Ну, я пошел сдавать дела Аверкиеву»). Но он помнил о Серезе: один раз, проснувшись, Сереза нашел возле кровати новые кубики, другой раз — коричневую обезьяну. Сереза полюбил обезьяну. Она была его дочкой. Она была красивая, как та царевна. Он говорил ей: «Ты, брат». Он ехал в Холмогоры и брал ее с собой. Шепча и целуя ее холодную пластмассовую морду, он укладывал ее спать.

НАКАНУНЕ ДНЯ ОТЪЕЗДА

Пришли незнакомые дядьки, посдвинули мебель в столовой и в маминной комнате и упаковали в рогожу. Мама сняла занавески и абажуры и портреты со стен. И в комнатах стало безобразно и бесприютно: обрывки шпагата на полу, на выцветших обоях темные четырехугольники там, где висели портреты. Только тети Пашина комната да кухня были островками среди этого унылого безобразия. Голые электрические лампочки светили на голые стены, голые окна и рыжую рогожу. Громоздились стулья, поставленные друг на друга, задирая к потолку исцарапанные ножки.

В другое время тут бы неплохо поиграть в прятки. Но не то время...

Дядьки ушли поздно. Все, усталые, легли спать. И Леня заснул, открывав, сколько ему требовалось кричать по вечерам. Лукьяныч и тетя Паша в постели долго шептали и сморкались, наконец и они стихли, и раздался храп Лукьяныча и тоненькое, носом, сонное посвистывание тети Паши.

Коростелев один сидел в столовой под голой лампочкой, пристроившись у стола, обшитого рогожей, и писал. Вдруг он услышал вздох за спиной. Оглянулся — за ним стоял Сережа в длинной рубашке, босой и с завязанным горлом.

— Ты что? — шепотом спросил Коростелев и встал.

— Коростелев! — сказал Сережа. — Дорогой мой, милый, я тебя прошу, ну пожалуйста, возьми меня тоже!

И он тяжело зарыдал, стараясь сдерживаться, чтобы не разбудить спящих.

— Что ты, брат, делаешь! — сказал Коростелев, беря его на руки. — Ведь сказано — босиком нельзя, пол холодный... Ведь сам знаешь, ну?.. Мы же договорились обо всем...

— Я хочу в Холмогоры! — прорыдал Сережа.



— Вот видишь, ноги-то уже застыли, — сказал Коростелев. Подлом Сережиной рубашки он прикрыл ему ноги; прижал к себе худенькое тело, сотрясающееся от рыданий. — Что ж поделаешь, понимаешь, если так складываются дела. Если ты все болеешь...

— Я больше не буду болеть!

— А как только поправишься — моментально за тобой приеду.

— Ты не врешь? — в тоске спросил Сережа и охватил рукой его шею.

— Я тебе, брат, еще не врал.

«Правда, не врал, — подумал Сережа, — но вообще иногда он врет, все они иногда врут... Вдруг он теперь и мне врет?»

Он держался за эту твердую мужскую шею, колючую под подбородком, как за последний свой оплот. В этом человеке была его главная надежда, и защита, и любовь. Коростелев носил его по столовой и шептал — весь этот ночной разговор происходил шепотом:

— ...Приеду, поедem с тобой на поезде... Поезд идет быстро... Народу полные вагоны... Не заметим, как приедем к маме... Паровоз гудит...

«Просто даже ему некогда будет за мной приезжать, — соображал Сережа, терзаясь. — И маме некогда. Каждый день будут к ним ходить разные люди и звонить по телефону, и всегда они будут идти по делу, или сдавать зачеты, или нянчить Леню, а я тут буду ждать, ждать и не дождусь никогда...»

— ...Там, где мы будем жить, лес настоящий, не то что наша роща... С грибами, с ягодами...

— С волками?

— Вот не скажу тебе. Насчет волков выясню специально и напишу в письме... И речка есть, будем с тобой ходить купаться... Научу тебя плавать кролем...

«А кто его знает, — с новой вспышкой надежды подумал Сережа, устав сомневаться. — Может, это все и будет».

— Сделаем удочки, будем рыбу удить... Смотри-ка! Снег пошел!

Он поднес Сережу к окну. Большие белые хлопья летели за окном и, расплываясь, на мгновение прилипали к стеклу.

Сереза загляделся на них. Он измучился, он затихал, прижавшись воспаленной мокрой щекой к лицу Коростелева.

— Вот и зима! Опять будешь много гулять, кататься на санках, — время и пролетит незаметно...

— Знаешь, что? — сказал Сереза с печальной заботой. — У меня очень плохая на санках веревка, ты привяжи новую.

— Есть. Обязательно привяжу. А ты, брат, дай мне обещание: больше не плакать, ладно? И тебе вредно, и мама расстраивается, и вообще не занятие для мужчины. Не люблю я этого... Обещай, что не будешь плакать.

— Ага, — сказал Сереза.

— Обещаешь? Твердо?

— Ага...

— Ну, смотри. Полагаюсь на твое мужское слово.

Он отнес изнемогшего, отяжелевшего Серезу в тети Пашину комнату, уложил и укрыл одеялом. Сереза протяжно, прерывисто вздохнул и уснул сейчас же. Коростелев постоял, посмотрел на него. В свете, падавшем из столовой, Серезино лицо было маленькое, желтое... Коростелев отвернулся и вышел на цыпочках.

ДЕНЬ ОТЪЕЗДА

Наступил день отъезда.

Угрюмый день без солнца, без мороза. Снег на земле за ночь растаял, лежал только на крышах тонким слоем.

Серое небо. Лужи. Какие там санки: противно даже выйти во двор.

И не на что надеяться в такую погоду. Вряд ли уже может быть что-нибудь хорошее.

А Коростелев все-таки привязал к санкам новую веревку, — Сережа заглянул в сени — веревка уже привязана.

А сам Коростелев убежал куда-то.

Мама сидела и кормила Леню. Все она его кормит, все кормит... Улыбаясь, она сказала Сереже:

— Посмотри, какой у него потешный носик.

Сережа посмотрел: носик как носик. «Ей потому нравится его носик, — подумал Сережа, — что она его любит. Раньше она любила меня, а теперь любит его».

И он ушел к тете Паше. Пусть у нее миллион предрассудков, но она останется с ним и будет его любить.

— Ты что делаешь? — спросил он скучным голосом.

— Не видишь разве, — резонно отвечала тетя Паша, — что я делаю котлеты?

— Почему столько много?

По всему кухонному столу были разложены сырые котлеты, обваленные в сухарях.

— Потому что нужно нам всем на обед и еще отъезжающим на дорожку.

— Они скоро уедут? — спросил Сережа.

— Еще не очень скоро. Вечером.

— Через сколько часов?

— Еще через много часов. Темно уже станет, тогда и поедут. А пока светло — не поедут.

Она продолжала лепить котлеты, а он стоял, положив лоб на край стола, и думал:

«Лукьяныч тоже меня любит, а будет еще больше любить, прямо ужасно будет любить. Я поеду с Лукьянычем на челне и утону. Меня закопают в землю, как прабабушку. Коростелев и мама узнают и будут плакать, и скажут: зачем мы его не взяли с собой, он был такой развитой, такой послушный мальчик, не плакал и не действовал на нервы, Леня перед ним — тьфу. Нет, не надо, чтобы меня закапывали в землю, это страшно: лежи там один... Мы тут будем жить хорошо, Лукьяныч будет мне носить яблоки и шоколадки, я вырасту и стану капитаном дальнего плавания, а Коростелев и мама будут жить плохо, и вот в один прекрасный день они приедут и скажут: разрешите дрова попилить. А я скажу тете Паше: дай им вчерашнего супу...»

Тут Сереже стало так непереносимо грустно, так жалко Коростелева и маму, что он залился слезами. Но тетя Паца успела только воскликнуть: «Господи ты боже мой!» — как он вспомнил обещание, данное Коростелеву, и сказал испуганно:

— Я больше не буду!

Вошла бабушка Настя со своей черной кошелкой и спросила:

— Митя дома?

— Насчет машины побежал, — ответила тетя Паша. — Аверкиев не дает, такой хам.

— Почему же он хам, — сказала бабушка Настя. — Самому в хозяйстве машина нужна. Во-первых. А во-вторых, он же дал грузовик. С вещами — чего лучше.

— Вещи — конечно, — сказала тетя Паша, — а Марьяше с дитем в легковом удобнее.

— Забаловались чересчур, — сказала бабушка Настя. — Мы детей ни на которых не возили, ни на легковых, ни на грузовых, а вырастили. Сядет с ребенком в кабину, и ладно.

Сережа слушал, медленно моргая. Он был поглощен ожиданием разлуки, которая неминуема. Все в нем как бы собралось и напряглось, чтобы выдержать предстоящее горе. На чем бы то ни было, но скоро они уедут, бросив его.

А он их любит.

— Что ж это Митя, — сказала бабушка Настя, — я проститься хотела.

— Вы разве проводить не поедете? — спросила тетя Паша.

— У меня конференция, — ответила бабушка Настя и ушла к маме. И стало тихо. А на дворе еще посерело и поднялся ветер. От ветра позвякивало, вздрагивая, оконное стекло. Тонким, в белых черточках льдом затянуло лужи. И опять пошел снег, быстро кружась на ветру.

— А теперь сколько осталось часов? — спросил Сережа.

— Теперь немножко меньше, — ответила тетя Паша, — но все-таки еще порядочно.

...Бабушка Настя и мама стояли в столовой среди нагроможденной мебели и разговаривали.

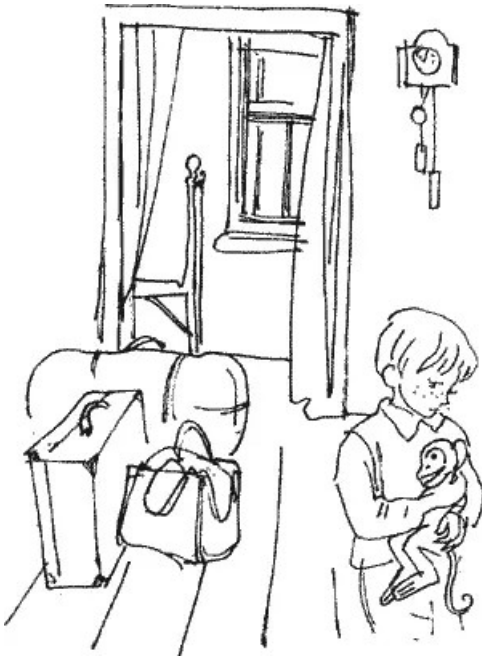
— Да где ж это он, — сказала бабушка Настя. — Неужели не попрощаемся, ведь неизвестно, увижу ли его еще.

«Она тоже боится, — подумал Сережа, — что они уезжают насовсем и никогда не приедут».

И он заметил, что уже почти стемнело, скоро надо зажигать лампу.

Леня заплакал. Мама побежала к нему, чуть не наткнулась на Сережу и сказала ласково:

— Ты бы чем-нибудь развлекся, Сереженька.



Он бы и сам рад был развлечься и честно пробовал заняться сперва обезьяной, потом кубиками, но ничего не получилось: было неинтересно и как-то все равно. Хлопнула в кухне дверь, затопали ноги и послышался громкий голос Коростелева:

— Давайте обедать. Через час машина придет.

— Выбегал «Москвич»-то? — спросила бабушка Настя.

Коростелев ответил:

— Да нет. Не дают. Черт с ним. Придется на грузовой.

Сережа по привычке обрадовался было этому голосу и хотел вскочить, но тут же подумал: «Ничего этого скоро не будет», — и опять принялся бесцельно передвигать кубики по полу. Коростелев вошел румяный от снега, сверху посмотрел на него и спросил виновато:

— Ну как, Сергей?..

...Пообедали на скорую руку. Бабушка Настя ушла. Совсем стемнело. Коростелев звонил по телефону и прощался с кем-то. Сережа прислонился к его коленям и почти не двигался, — а Коростелев, разговаривая, перебирал его волосы своими длинными пальцами...

Вошел шофер Тимохин и спросил:

— Ну как, готовы? Дайте лопату снег расчистить, а то ворота не открыть.

Лукьяныч пошел с ним отворять ворота. Мама схватила Леню и стала, суетясь, заворачивать его в одеяло. Коростелев сказал:

— Не спеши. Он упарится. Успеешь.

Вместе с Тимохиным и Лукьянычем он стал выносить упакованные вещи. Двери то и дело открывались, в комнаты нашел холод. У всех был снег на сапогах, никто не обтирал ног, и тетя Паша не делала замечаний — она понимала, что теперь уж и ноги обтирать не к чему! По полу растеклись лужи, он стал мокрым и грязным. Пахло снегом, рогожей, табаком и псиной от тимохинского тулупа. Тетя Паша бегала и давала советы. Мама, с Леной на руках, подошла к Сереже, одной рукой обняла его голову и прижала к себе; он отстранился: зачем она его обнимает, когда она хочет уехать без него.

Все вынесено: и мебель, и чемоданы, и сумки с едой, и узел с Лениными пеленками. Как пусто в комнатах! Только валяются какие-то бумажки да лежит на боку пыльный пузырек от лекарства. И видно, что дом старый, что краска на полу облезла, а сохранилась только там, где стояли тумбочка и комод.

— Надень-ка; на дворе холодно, — сказал Лукьяныч тете Паше, подавая ей пальто.

Сережа встрепенулся и бросился к ним с криком:

— Я тоже выйду во двор! Я тоже выйду во двор!

— А как же, а как же! И ты, и ты! — успокоительно сказала тетя Паша и одела его. Мама и Коростелев тоже тем временем оделись. Коростелев поднял Сережу под мышки, крепко поцеловал и сказал решительно:

— До свиданья, брат. Будь здоров и помни, о чем мы договорились.

Мама стала целовать Сережу и заплакала:

— Сереженька! Скажи же мне «до свиданья!».

— До свиданья, до свиданья! — отозвался он торопливо, задыхаясь от спешки и волнения, и посмотрел на Коростелева. И был награжден — Коростелев сказал:

— Ты у меня молодец, Сережка.

А Лукьянычу и тете Паше мама сказала, все еще плача:

— Спасибо вам за все.

— Не за что, — печально ответила тетя Паша.

— Сережку берегите.

— Это можешь не беспокоиться, — ответила тетя Паша еще печальнее и вдруг воскликнула: — Присесть забыли! Присесть надо!

— А куда? — спросил Лукьяныч, вытирая глаза.

— Господи ты боже мой! — сказала тетя Паша. — Ну, пошли в нашу комнату!

Все пошли туда, сели кто где и зачем-то посидели — молча и самую минутку. Тетя Паша первая встала и сказал:

— Теперь с богом.

Вышли на крыльцо. Шел снег, все было белое. Ворота были распахнуты настежь. На стенке сарая висел фонарь со свечкой, он светил, снежинки роились в его свете. Грузовик с вещами стоял посреди двора. Тимохин укрывал вещи брезентом, Шурик помогал ему. Вокруг собрался народ: Васькина мать, Лида и еще всякие люди, пришедшие проводить Коростелева и маму. И все они — и все кругом показалось Сереже чужим, невиданным. Незнакомо звучали голоса. Чужой был двор... Как будто никогда он не видел этого сарая. Как будто никогда не играл с этими ребятами. Как будто никогда

не катал его этот самый дядька на этом самом грузовике. Как будто ничего своего не было и не могло уже быть у него, покидаемого.

— Погано будет ехать, — незнакомым голосом сказал Тимохин. — Скользко.

Коростелев усадил маму с Леней в кабину и укутал шалью: он их любил больше всех, он заботился, чтобы им было хорошо... А сам он влез на грузовик и стоял там большой, как памятник.

— Ты под брезент, Митя! Под брезент! — кричала тетя Паша. — А то тебя снегом засекет!

Он ее не слушался, а сказал:

— Сергей, отойди в сторону. Как бы мы на тебя не наехали.

Грузовик зафырчал. Тимохин полез в кабину. Грузовик фырчал громче и громче, стараясь сдвинуться с места...

Вот сдвинулся: подался назад, потом вперед и опять назад. Сейчас уедет, ворота закроют, фонарь потушат, и все будет кончено.

Сережа стоял в сторонке под снегом. Он изо всех сил помнил про свое обещание и только изредка всхлипывал длинными, безотрадными, почти беззвучными всхлипами. И одна-единственная слеза просочилась на его ресницы и заблестала в свете фонаря — слеза трудная, уже не младенческая, а мальчишеская, горькая, едкая и гордая слеза...

И не в силах больше тут быть, он повернулся и зашагал к дому, сторбившись от горя.

— Стой! — отчаянно крикнул Коростелев и забарабанил Тимохину. — Сергей! А ну! Живо! Собирайся! Поедешь!

И он спрыгнул на землю.

— Живо! Что там?! Барахлишко. Игрушки. Единым духом. Ну-ка!

— Митя, что ты! Митя, подумай! Митя, ты с ума сошел! — заговорили тетя Паша и мама, выглянувшая из кабины.

Он отвечал возбужденно и сердито:

— Да ну вас. Это что же, понимаете. Это вивисекция какая-то получается. Вы как хотите, я не могу. И все.

— Господи ты боже мой! Он же там погибнет! — кричала тетя Паша.

— Идите вы, — сказал Коростелев. — Я за него отвечаю, ясно? Ни черта он не погибнет. Глупости ваши. Давай, давай, Сережка!

И побежал в дом.

Сережа сперва оцепенел на месте: он не поверил, он испугался... Сердце застучало так, что стук отдавался в голове... Потом Сережа бросился в дом, обежал, задыхаясь, комнаты, на бегу схватил обезьяну — и вдруг отчаялся, решив, что Коростелев, наверно, передумал, мама и тетя Паша его отговорили, — и кинулся опять туда к ним. Но Коростелев уже бежал ему навстречу, говоря: «Давай, давай!» Вместе они стали собирать Сережины вещи. Тетя Паша и Лукьяныч помогали. Лукьяныч складывал Сережину кровать и говорил:

— Митя, это ты правильно! Это ты молодец!

А Сережа лихорадочно хватал что попало из своего имущества и бросал в ящик, который дала тетя Паша. Скорей! Скорей! А то вдруг уедут? Ведь никогда нельзя знать точно, что они сейчас сделают... Сердце билось уже где-то в горле, мешая дышать и слышать.

— Скорей! Скорей! — кричал он, пока тетя Паша его укутывала. И, вырываясь, искал глазами Коростелева. Но грузовик оказался на месте, а Коростелев еще даже не сел и велел Сереже со всеми проститься.

И вот он взял Сережу и запихал в кабину, к маме и Лене, под мамину шаль. Грузовик покатил, и можно наконец успокоиться.

В кабине тесно: раз, два, три, — четыре человека, ого! Очень пахнет тулупом. Тимохин курит. Сережа кашляет. Он сидит, втиснутый между Тимохиным и мамой, шапка съехала ему на один глаз, шарф давит шею, и не видно ничего, кроме окошечка, за которым мчится снег, освещенный фарами. Здорово неудобно, но нам на это наплевать: мы едем. Едем все вместе, на нашей машине, наш Тимохин нас везет, а снаружи, над нами, едет Коростелев, он нас любит, он за нас отвечает, его секет снег, а нас он посадил в кабину, он нас всех привезет в Холмогоры. Господи ты боже мой, мы едем в Холмогоры, какое счастье! Что там — неизвестно, но, наверно, прекрасно, раз мы туда едем! Грозно гудит тимохинская сирена, и сверкающий снег мчится в окошечке прямо на Сережу.